

[Polaris]

КЛОД ФАРРЕР



ПРОГУЛКА
ПО
ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCXXVIII



Salamandra P.V.V.

**Клод
ФАРРЕР**

**ПРОГУЛКА ПО
ДАЛЬНЕМУ
ВОСТОКУ**

Salamandra P.V.V.

Фаррер К. (Баргон Ф.)

Прогулка по Дальнему Востоку. Пер. с франц. Д. И. Мазурова. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 168 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. ССХХVIII).

В книге французского писателя Клода Фаррера (1876-1957), наиболее известного своими «колониальными» романами, рассказывается о путешествии в Индокитай, Китай и Японию.

**ПРОГУЛКА
ПО
ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ**

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

У нас давно знают и ценят Клода Фаррера, как занимательного рассказчика, как живописца экзотических пейзажей и корабельных и жанровых сцен. В этих картинках, списанных непосредственно с натуры, главное достоинство его книг. Напротив, романтическая фабула, обрисовка характеров, психологический анализ и идеология у него из рук вон плохи. Это какой-то вечный, к пятидесяти годам от роду не достигший совершеннолетия подросток, напоминающий нашего Марлинского, но перенесенный в XX столетие и во французскую обстановку. Старый знакомец наших дедов лейтенант Белозор покинул пришедший в ветхость парусный фрегат «Надежда». Он теперь плавает на турбинном крейсере «Клебер» или на сверхдредноуте «Гамбетта» и зовется графом де Фьерс*. Но от этого несколько не изменился его нрав, ребячливый и вздорный, и похождения его не стали ни на йоту правдоподобнее.

Умственно зрелому человеку как-то совестно читать о лейтенантских подвигах, наполненных неистовой храбростью и противоестественным благородством. Поэтому приятно взять, наконец, в руки такую книгу Фаррера, где нет ни Фьерса-Белозора, ни страшного пирата Томаса Ягненка, который до такой степени отважен и свиреп, что остается живехонек даже после того, как шестьдесят испанцев выпалили в него в упор из шестидесяти мушкетов.

В «Прогулке по Дальнему Востоку», к счастью, нет ни героя, ни фабулы. Это изящная и увлекательная салонная

* Граф де Фьерс и упоминаемый ниже Тома-Ягненко — соответственно, герои романов К. Фаррера «Цивилизованные» («Цвет цивилизации», 1905) и «Тома-Ягненко» (1911), лейтенант Белозор — персонаж русского писателя-романтика А. А. Бестужева (1797-1837), публиковавшегося под псевдонимом «Марлинский» (*Здесь и далее прим. изд.*).

болтовня, свободная от всякой притязательности, поскольку это вообще возможно для французского литератора, принадлежащего к эпигонам романтической школы. Но болтовня на чрезвычайно интересную тему. Дальний Восток понемногу приобретает первенствующее значение в жизни и европейского, и американского Запада и на берегах Тихого океана завязывается один из самых трагических узлов мировой политики.

Я, впрочем, никому не рекомендую знакомиться с бытом, государственным устройством, историей и природой далеких азиатских стран исключительно по очеркам Фаррера. С таким же успехом можно было бы требовать обстоятельных сведений по ботанике от мотылька, перепархивающего с цветка на цветок. Для углубленного изучения Дальнего Востока существуют другие пособия, другие источники.

Но вместе с тем в книге Фаррера читатель найдет то, чего тщетно стал бы отыскивать в большинстве серьезных, научных и публицистических сочинений, трактующих о дальневосточной проблеме. Трудолюбивые и многоученные востоковеды, из которых каждый может в пределах своей специальности заткнуть за пояс целый десяток легкомысленных и поверхностных туристов вроде Фаррера, не обладают, однако, и десятой долей ни его свежей, живой впечатлительности, ни его таланта изложения.

Совершив мысленную поездку на Дальний Восток, рука об руку с остроумным автором, мы возвращаемся не слишком обремененные новыми познаниями по части физической и политической географии. Путешествие длилось недолго и было слишком веселым и приятным, чтобы мы согласились утруждать свою память затверживанием этнографических фактов и статистических цифр. Но, однако, никак нельзя считать, чтобы наш душевный опыт ни в каком отношении не обогатился.

Ведь Дальний Восток, словно по магию магической палочки, встал перед нами со всею пестротой красок, со всею гаммою дисгармонических звуков, со всем разнообразием острых и прятных запахов. Наш ум ничему порядком не

научился, но наши глаза видели, наши уши слышали, наши ноздри обоняли. Наваждением своего искусства писатель-волшебник умудрился создать иллюзию для наших чувств.

Теперь, закрыв книгу Фаррера на последней странице, попробуйте пробежать в сегодняшней газете агентские телеграммы из Китая и Японии. Вы увидите, как оживут, как исполнятся людского движения и шума толпы эти сухие, отрывочные сообщения. Какой захватывающий интерес приобретут они в ваших глазах.

Ради одного этого Фарреру можно простить большую половину грехов, которые натворил он в притонах Сайгона и опиумных курильнях всех остальных портов Восточно-Азиатского берега вместе со своим непутевым графом де Фьерсом.

В. К.

I

ОТ МАРСЕЛЯ ДО САЙГОНА

Итак, мы отправляемся путешествовать по Дальнему Востоку, по самому Дальнему, Дальнему Востоку, — я хочу сказать, по Кохинхине, по Китаю и Японии. Остается только отплыть от берегов Европы.

Прежде всего изучим вместе путь, по которому нам с вами придется следовать.

Этот путь велик: сорок дней, или что-то в этом роде, — мы пробудем в море, — длиннее пробега нельзя, кажется, и сделать на нашей маленькой планете! Приходится выбирать такое время года, когда можно надеяться, что море будет спокойно и когда меньше всего шансов познакомиться с морской болезнью. Придется остановиться на времени зимнего муссона, бережно относящегося к Индийскому океану, океану, который мы пересечем во всю его ширину.

А теперь назначим час — и в путь! Мы отправляемся, конечно, из Парижа. По авеню Доминик мы доберемся до Лионского вокзала. И оттуда, в один прекрасный вечер, нас унесет пресловутый «голубой поезд», — экспресс Кале — Средиземное море, который, как говорят (и я склонен этому верить), самый усовершенствованный из всех поездов на свете. — А поезд, действительно, необычайный: в нем даже не чувствуется толчков. Мы не станем, разумеется, слушать, как выкрикивают — «Ларош, Дижон, Лион, Авиньон», — мы в спальном и, значит, будем спать. В Марсель прибудем только утром.

Не стоит надеяться на то, чтобы застать там хорошую погоду. Ведь дело происходит в ноябре, в декабре или в январе: я полагаю, что будет холодно, но, по всей вероятности, сухо. Я всеми силами постарался бы убедить вас не брать в отеле комнаты, окно которой открывается прямо над одним из тротуаров улицы Каннебьер; принимая во внима-

ние шум, который царит на этой, одной из величайших в мире, артерий, вы, смело можно сказать, отдохнули бы очень плохо.

Поезд наш приходит ни свет, ни заря, а потому у нас достаточно времени, чтобы побродить по городу и в частности отправиться на набережную Жюльет посмотреть на пакетбот, который нас увезет отсюда.

Для нас с вами этот пакетбот имеет громадное значение: он будет заменять нам дом в течение сорока дней. Посмотрим же на него. Разумеется, мы не сможем попасть на его борт: сегодня день последних приготовлений, день генерального мытья и чистки... а потому будем глядеть только издали.

Современный пакетбот являет грандиозное зрелище. Дабы вы могли получить представление о его форме, представление весьма точное, припомните гоночную шлюпку на Сене... У него точь-в-точь такой же корпус... только бесконечно больших размеров. В длину современный пакетбот имеет от 180 до 250 метров, но, помимо размеров, повторяю, он ничем не отличается от шлюпки; подобно ей, он удивительно строен, элегантен, породист. У него две мачты; две, три или четыре трубы; и над корпусом роскошное сооружение, — целый дворец водяного города в четыре этажа, ослепительно белый, с бесконечным множеством окон, обильной позолотой, бесчисленными огнями и не поддающейся описанию роскошью внутреннего убранства.

Я не стану вам рассказывать, само собою разумеется, ни о подводной части судна, ни о его спасательных средствах, ни о машинах. Пакетбот пойдет очень быстро, — это всем известно. Но, невзирая на это, будьте уверены, что на нем вы не подвергаетесь никакой опасности. Я осмелюсь почти утверждать, что если, вследствие какого-нибудь невероятного несчастного случая, подобный пакетбот был бы разрезан пополам, ни больше, ни меньше, то обе половинки продолжали бы держаться на поверхности воды.

Итак, — за мною без боязни! Для начала недурно изучить внутреннее устройство корабельных помещений, представляющее огромный интерес. Тут есть каюты, располо-

женные внутри, и каюты, расположенные снаружи. Первые значительно хуже вторых. Нас с вами предупредили, а потому мы выбрали каюты снаружи. Тут много салонов, огромных салонов, гигантских столовых с очень маленькими столиками; музыкальных комнат, читален, «баров» английских или американских, не припомню в точности. Мой знаменитый собрат Авель Герман видит большую разницу между барами английскими и американскими, но теперь я не припоминаю больше, которые именно из них никогда не закрываются. Во всяком случае, те, которые находятся на нашем судне, открыты всю ночь. На палубе площадки для игр, под открытым небом, бесчисленное множество «chaises longues» *, а так как мы прибыли в очень холодную погоду, вам отнюдь не ясно, кому они могут понадобиться! Но подождите... — всякому овощу свое время. А пока что завтра, при отплытии, вы, дамы и барышни, наверно наденете все ваши теплые вещи, ваши меха и пледы.

Пароход отойдет около шести часов вечера, — таков обычай.

И тотчас же предпочитаю предупредить вас заранее, — наш пароход при выходе слегка покачает. Подход к Марселю с моря — не из приятных. Вам, сударыни, едва хватит времени на то, чтобы полюбоваться весьма необыкновенной панорамой города, с его гаванью, почти пустой в настоящее время (статьи морских ограничений коснулись и ее), с холмами, усеянными точками домов, с собором, с Notre-Dame de la Garde ** и ее громадной золоченой статуей, царящей над всем... потому что вам сейчас же будет очень и очень не по себе.

О! разумеется, вы не захвораете морской болезнью... но вам будет беспокойно! Быть может, вы даже не станете обедать в этот первый вечер. Обидно! следовало бы пообедать! Первый обед куда забавнее всех остальных.

Замешательство всей этой массы людей, сошедшихся здесь, их затруднения при выборе столов, чтобы избежать

* Шезлонгов (*фр.*).

** Католическая базилика сер. XIX в., символ Марселя.

неприятных соседств, вынужденные взаимные представления, предупредительность офицеров судна, капитана, комиссара, доктора, — ничего не может быть смешней! Согласитесь сами: дело идет о том, чтобы разместить людей, которым придется жить вместе сорок дней и не ссориться... В конце концов, это и не так трудно, по крайней мере по дороге «туда». Мне приходилось неоднократно быть свидетелем корабельных распрей, но всегда при возвращении из путешествий. При прямых рейсах все находились в наилучшем расположении духа... Все здоровы (раз отъезжают из Франции); все идут навстречу неизвестности, с глазами, раскрытыми широко, с возбужденным любопытством... Коротче сказать, дело ладится! И только на обратном пути, страдая печенью или желудком, люди делаются нервными, и тогда ссоры нередки.

* * *

Мы пересечем все Средиземное море с запада на восток. Зимой оно зачастую негостеприимно.

В первое же утро пройдем мимо устья св. Бонифация. Вам покажут маленькое кладбище «Резвого» — тут погиб фрегат с людьми и грузом. (Но это было когда-то давно, давно, этого больше не случается, никогда не случается, — пусть каждый запомнит!) Потом начнется Тирренское море: мы увидим Стромболи, увидим, по всей вероятности, ночью, когда над нами, я надеюсь, взойдет золотая луна (это будет прекрасно, даже волшебнo!..); быть может, в нашу честь вулкан извергнет даже несколько снопов пламени.

На завтра мы приблизимся к Мессине, разрушенной, но еще более величественной от этого, и к Реджио, напротив Мессины. Если это случится ночью, то во мраке засияет множество огней.

Потом мы увидим Харибду и Сциллу... вернее сказать, мы их не увидим; потому что Сцилла просто мыс, как и все мысы; что же касается Харибды, то мы пройдем над нею,

но даже и не заметим пресловутого водоворота, столь грозного когда-то для средневековых «нефов»*... Я лично не менее двадцати раз проходил над Харибдой, и ни разу ничего не заметил! Надо думать, что она никогда и не существовала. То Улисс (вот уж поистине... «грек»!..) придумал в свое время эту ахинею.

А теперь дальше, дальше! Мы пройдем всю восточную часть Средиземного моря. И на четвертый день нашего плавания, считая с момента отправления из Марселя, — вечером увидим, как внезапно изменится цвет моря: оно до сих пор бывало попеременно то синим, то зеленым, то серым, в зависимости от часа дня, неба или ветра, а теперь оно вдруг без какого-либо перехода делается желтым. В этом виноват Нил. Нил близко. Пока еще, конечно, ничего не видно. Берег Египта плоский, к нему можно пристать, а он все еще не будет виден. Но так или иначе, около восьми или десяти часов вечера мы прибудем в Порт-Саид, а это прибытие не из обычных. Один из величайших писателей современности, англичанин Редьярд Киплинг, сказал однажды с картинностью и точностью, присущими его таланту: «Если б вам захотелось встретиться с кем-нибудь из тех, кого вы знали и кто теперь путешествует, то существуют только две точки на земном шаре, где вам достаточно будет сесть и подождать: рано или поздно человек, которого вы ищете, туда придет; эти две точки, — доки Лондона и Порт-Саид».

Действительно, Порт-Саид — прихожая, без которой не обходится никто из людей, взявших шляпу и палку, чтобы выйти... чтобы «выйти»... что называется, всерьез...

* * *

* Неф — торговое и военно-транспортное средиземноморское судно X-XVI вв. с одной-двумя мачтами.

В Порт-Саиде восемьдесят громадных пароходов всех национальностей ждут нас, в то же время сами ожидая очереди, чтобы пройти канал. Наш пакетбот бросил якорь. Вечер. Но не успел еще якорь коснуться дна, как внезапно спардек как будто взят был на абордаж неистовой толпой негров, бедуинов, греков, мальтийцев, триполитанцев, феллахов, сирийцев и левантинцев, — разноцветной толпой, которая вопила на всех языках строителей вавилонской башни! Не думайте, а вы могли бы это подумать (подобно храбромому Тартарену, который сам испугался того же), что это банды пиратов, лезущих на абордаж: то мирные лодочники, навязчивые проводники предлагают вам попросту свои услуги, предлагают на восточный манер. Восточные люди немного крикливы, вот и все! К этому нужно только привыкнуть. Вся эта голосащая толпа прибыла сюда единственно для того, чтобы отвезти вас на берег. Да-с! Обратите внимание: сегодня вечером нужно отправиться на берег. *Нужно.* Вы слышите? *Необходимо* отправиться на берег.... И если вы, сударыни, рискнете этим пренебречь, то не более, чем через двадцать минут, вы превратитесь в чистокровных негритянок! На судне будут заниматься углем! То есть погрузят в угольные ямы те два, четыре или восемь миллионов кило угля, которыми придется кормить наши машины между Египтом и Цейлоном. Ближайший результат: все отверстия, двери, окна, иллюминаторы и даже мышинные норки на судне будут закрыты, задраены, законопачены, так как угольная пыль проникает в самые маленькие щелки. Ваши каюты закрыты. Внутри вы задохнулись бы. Снаружи чернильная ванна была бы менее опасной.

Итак, на берег, скорей на берег! «Сию же минуту», как говорят моряки. Вы уже пообедали, — на море обедают между шестью и семью. Поскорее доверьте вашу персону первому попавшемуся лодочнику... И — лезем на набережную! Не бойтесь, — я вам протяну руку. Однако? Чего же вы продолжаете сидеть на месте, разинув рот?

— Что? Порт-Саид (говорите вы), Порт-Саид...

Ах, вот оно что! Порт-Саид не такой город, как все другие? Конечно, нет! Даже вовсе нет!

Порт-Саид действительно не город. Он даже не похож на город... Это.... как бы сказать? Это буфет грандиозного вокзала: туда заходят только по пути. Да, как мне кажется, Порт-Саид самый неудобный из всех городов мира. Но не будем больше распространяться об этом. Да и к чему, в конце концов! Скажем только, что на два дома здесь приходится один «дансинг» или даже полтора дансинга... и далеко не всегда эlegantных. Но попадаются подчас и такие; потому что в Порт-Саиде можно найти все!

Для начала вам придется протискаться через целую армию более или менее голых людей; у каждого на спине громадные корзины угля для всех пароходов, расположенных поблизости; вы ступите на твердую землю на набережной, залитой белыми и лиловыми волнами электрического света, и очутитесь затем внезапно среди хаоса звуков, среди кабачков, аттракционов, светящихся реклам и лавок «редкостей».

Таков Порт-Саид, если взглянуть на него из окошка экспресса или через иллюминатор океанского парохода. Нечего и говорить, что вам придется волей или неволей войти куда-нибудь и выпить там омерзительного пива или лимонада, в котором никакой лимон никогда и не ночевал; и все это для того, чтобы вам сыграли какой-нибудь фокстрот... потому что надо же вам потанцевать, чтобы провести время, раз приходится остаться тут до двух, а то и до трех часов утра. Уголь «кончится» не раньше двух часов, а пока он не кончится, ваша постель останется для вас недосягаемой. Но так или иначе, все имеет свой конец, даже погрузка угля на пароход и даже ночи Порт-Саида. Рано или поздно вы очутитесь снова, правда, немного усталый, на борту вашего судна.

Самое любопытное в том, что вчера вы и пятьсот ваших сотоварищей, подобно вам, пассажиров первого класса, сошли на берег, не будучи ни с кем знакомы. А сегодня, встретившись вновь на судне, вы уже превосходно знаете друг друга. Черт возьми! В течение целой ночи вы повсюду видели друг друга! Вы даже танцевали вместе! Так что...

Итак, вы вернулись на судно и можете заснуть, чтобы завтра проснуться в тот час, когда обыкновенно просыпаются на океанских пароходах, т. е. между девятью и десятью часами. Вам приносят ваш кофе... После чего вы выходите наверх, чтобы посмотреть, что там делается; вам становится сейчас же очевидным, что необходимо переменить туалет: температура — та со своей стороны уже переменялась! Стало жарко, совершенно неожиданно очень жарко. Скачок невероятный! Вчера в Средиземном море было десять-пятнадцать градусов; сегодня, не угодно ли полюбоваться, уже тридцать, а это еще только начало!

Вы в Суэцком канале. Вот уже поистине путешествие, во время которого вам меньше всего стоит двигаться: я отсюда покажу вам Суэцкий канал так ясно, как будто бы вы там побывали.

Наш пакетбот движется в узкой траншее между двумя высочайшими стенами песка, и нам не видно ничего, абсолютно ничего... Песок,— и это все! Однако, не следует забывать, что с бакборта, то есть слева от нас, Палестина и немного южнее Аравия, — земля филистимлян, — то есть чуть не вся древняя история, и даже еще древне-священная история.

Справа от нас Египет... Бонапарт когда-то пальцем указал своим солдатам на те сорок веков, что с высоты пирамид созерцали его победы. Не знаю, видели ли их или нет солдаты, но с палубы корабля вы их видите превосходно, стоит лишь закрыть глаза. Подумайте только, что за этой стеной целая история, еще более сказочная, чем та, другая, еще более ушедшая в глубь веков: история фараонов...

Никогда нельзя отнестись безразлично к стене, за которой что-нибудь происходит; но, смею вас уверить, что стена, за которой в свое время происходили тысячи тысяч вещей, производит потрясающее впечатление!

Я никогда не мог пройти Суэцкий канал без чувства глубокого волнения. Два великих воспоминания захватывали меня всецело: Египет с одной стороны и все народы Востока — с другой. Да! здесь, среди этих песчаных равнин, бились полчища Рамзесов с ордами Навуходоносора, трид-

цать три века тому назад. ..

Переход длится что-то около двадцати четырех часов. А потом мы оставим позади нас канал господина Лессепса. Я бы очень хотел, чтобы ему окончательно было присвоено это имя: потому что, как хотите, но француз, а не кто-нибудь другой, построил его, — этот канал; и тем более, что в наши дни он, увы, перестал быть французским, перестал быть даже интернациональным...

Теперь мы находимся в заливе, очень длинном и очень узком, в заливе Суэца. Слева высокая гора... Неужели это Синай? Вот видите, мы все время живем в истории... Справа каменные утесы Египта, которые постепенно от нас удаляются... В течение четырех дней мы будем идти Красным морем и все время будем видеть берег то с правого, то с левого борта. Слева пройдет Аравия, ислам, Мекка и Медина, которую возлюбил Пророк... Справа — древний Египет, Египет Фив, родившийся после Египта Мемфиса, Египта Рамзеса II... Будет стоять душливая жара, море в неизменном спокойствии и, несмотря на то, что мы в открытом море, нас от времени до времени будет заносить пылью: так тонки и легки пески Аравии и пески Египта; достаточно едва заметного ветерка, ветерка, который даже не освежает, чтобы донести их до проходящих мимо кораблей...

Едва не забыл: каждый вечер у нас будет развлечение высшего порядка. Мы все, конечно читали когда-то романы Жюль Верна, мы их знаем наизусть... И, значит, нам известно, что есть один, который называется «Зеленый луч». Этот Зеленый луч, о котором рассказал Жюль Верн, отнюдь не вымысел романиста: этот луч существует на самом деле. И не где-нибудь, а именно в Красном море его можно видеть чаще всего, почти каждый день. Придется только подняться на спардек около шести часов вечера, когда солнце готово закатиться.

Огромный красный диск медленно катится к горизонту. Кажется, что на западе все небо пылает пожаром. Но вот солнце касается своим нижним краем моря. Вот его не видно больше целиком, — маленькая часть диска уже исчезла под водою. А солнце все погружается. Оно скрылось почти

наполовину, немного больше, чем наполовину... Теперь, смотрите хорошенько, — цвет его начинает изменяться: оно было красное, теперь оно желтое... Оно продолжает опускаться. Уже виден только один сегмент. Этот сегмент обретает зеленоватый оттенок. Он уменьшается, готов исчезнуть, и вот тогда внезапно зеленоватый оттенок уступает место неожиданной окраске: перед вами в несказанном великолепии сияет зеленый луч, луч чистейшего изумруда. Он ослепляет. Не думайте, что тут оптический обман! Возьмите ваш бинокль, присмотритесь хорошенько: солнце действительно стало зеленым...

Еще момент, и оно исчезнет совершенно...

На свете существует до ста шестидесяти пяти объяснений этого маленького феномена, и нет ни одного, которое удовлетворяло бы меня вполне. Но факт остается фактом. Я видел его множество раз и до пятисот свидетелей вместе со мною. Это достопримечательность Красного моря.

* * *

Четыре дня нам потребовалось на то, чтобы пройти Средиземное море, и столько же мы потратим на то, чтобы пересечь Красное. Итак, девятый день нашего путешествия.

Сегодня мы зайдем часа на четыре или на пять в Джибути, хотя многие пароходы проходят мимо, не останавливаясь. В прежнее время заходили в Обок или напротив, в Аден. Но все эти три стоянки стоят одна другой, то есть весьма мало чего.

Берег, к которому мы пристанем, — голый, раскаленный песок, а в городе деревья столь редки, что всех их собрали вместе в одном саду, саду губернатора... Очень жиденьком саду, поверьте мне!

Джибути — город пустыни, с климатом Сахары, город африканский и, разумеется, черный: среди жителей не увидишь никого, кроме негров. Вместо домов круглые хижины с прическами из соломы, а затем кофе, бесконечно мно-

го кофе, в огромных мешках! Не надо забывать, что Мокка лежит напротив, и что позади нас — Харрар!

Тянутся верблюды, караван за караваном, кроткие и тихие... Они идут из глубины Эфиопии, страны Менелика или его наследников... Бесконечно таинственная страна, эта Эфиопия: по существу — это государство исключительно христианское, хотя и сильно отличающееся от наших христианских государств в смысле обрядности; а во времена глубокой древности, я хочу сказать, за десять или двенадцать тысяч лет до нашей эры, весьма вероятно, что именно отсюда вышли евреи, еще задолго до Мафусаила и Ноя.

Ученые наших дней полагают, что они скорее пересекли Баб-эль-Мандебский пролив, нежели прошли Суэцким перешейком... Значит, они должны были пройти недалеко от Джибути...

В этом путешествии мы на каждом шагу попираем прах бесконечной, невероятной древности.

Мне ведомы страны прекраснее тех, о которых идет речь, но я не знаю мест, которые бы воскрешали столько снов далекого прошлого, могли бы заставить вас так насторожиться, так взволноваться...

Я много думал над словами моего учителя Лоти*, сказанными во время его путешествия в Персию, когда он достиг развалин дворца Ксерксов: ужас охватил его перед этими камнями, пережившими столько веков, свидетелями стольких событий...

Мне тоже знаком этот ужас, я его ощущаю каждый раз, когда отправляюсь на Дальний Восток, хотя бы — лишь мысленно. И мне кажется, будто ногами моими я попираю многоценные реликвии, тревожу чей-то великий прах...

* * *

* Пьер Лоти (наст. имя Л. Ж. Вио, 1850-1923) — автор чрезвычайно популярных в свое время «колониальных» романов, путевых очерков и пр., офицер французского флота.

Теперь расстанемся с Джибути; мы спустимся к югу или, как говорят моряки, отхватим добрый кусок широты... Ведь действительно, Сингапур находится на экваторе. Вы полагаете, что с каждым днем мы все больше и больше будем страдать от жары? Нет, мы находимся в Индийском океане и, кроме того, теперь зима. Мы нарочно покинули Францию в ноябре или в декабре, чтобы иметь в Индийском океане самую лучшую погоду из всех, о которых можно мечтать. Ветерок будет дуть едва-едва, и притом попутный. Наш пакетбот будет покачиваться не больше, чем танцевальный зал; вполне естественно, что рано или поздно он и превратится в место для танцев...

Ну что прикажете еще делать на борту судна в такую погоду, если не танцевать?

Примите во внимание, что от Порт-Саида у нас было достаточно времени, чтобы узнать друг друга. И, кроме того, что с тех пор, как изменилась температура, внешний вид спардека тоже изменился, и изменился радикально; виднеются одни белые платья и прозрачные легкие ткани. Мужчины покинули во время обеда мрачные европейские одеяния, черное сукно и черный фэй; появились смокинги из белого полотна, как то принято под тропиками. Родилось немало флиртов всех оттенков. Пароход превратился, как по мановению волшебного жезла, в нечто чрезвычайно приятное, любезное и очаровательное. С утра до вечера (океанский пароход, — это такой уголок, где работают меньше всего на свете: во-первых, там слишком жарко; а во-вторых, здесь царит настроение слишком сладкой лени...) с утра до вечера никто не покидает своих *chaise-longue*'ов; появились в воздухе легкие контуры интимностей; вскоре будут болтать, будут изливаться, начнут зарождаться нежности... будут курить папиросы, будут сосать ледяные ситронады и будут есть, есть без конца...

Ведь это тоже развлечение за неимением лучшего! Первый раз на судне завтракают в девять часов; во второй раз — в одиннадцать часов; в два часа «*tiffin*»*, в четыре — чай.

* Закуска (англ.).

Наконец, в шесть часов настает время обеда; а в девять часов второй чай, в ожидании ужина, который подается в одиннадцать, — для тех, кто танцевал: надо же, правда, этим бедным танцорам поужинать!

Назавтра можно начать сначала. Мы находимся в океане, делать нам абсолютно нечего! Каждый вечер мы танцуем, и ужинаем, и флиртуем... чего, кажется, лучше?

Начиная со второго дня после Джибути, начинают обычно подготавливать неизбежную салонную комедию, которую, к тому же, никогда не будут играть, но которую будут репетировать каждый вечер, без исключения, вплоть до прибытия в Коломбо!... Репетировать с такими переменами в распределении ролей, что они заслуживают того, чтобы о них поговорить.

Чрезвычайно любопытная вещь — салонная пьеса, разыгрываемая на борту судна! Вам известно, что в салонных пьесах, по обыкновению, какой-нибудь мужчина в известный момент целует даму. Недурно было бы сосчитать, сколько раз во время репетиций, о которых я говорю, роль этой дамы меняла своих исполнительниц, и сколько раз менялся претендент на роль этого господина ...

А, между тем, мы все дальше и дальше движемся по пути к Дальнему Востоку... Теперь нам осталось уж не так много: еще шесть или семь дней, и мы переступим порог Желтой страны. Мы уже пересекаем море Омана. Можно идти двумя дорогами: по восьмому или девятому градусу. Вы имеете основание предпочитать один из них? Нет? Пусть, значит, все совершается помимо нашей воли...

Вот мы уже между Мальдивскими островами... Дальше, дальше... Мы увидим лунные ночи на океане, великолепные лунные ночи... Наше путешествие длится больше месяца и рано или поздно нам придется любоваться забываемой картиной полной луны над океаном... Вы помните, конечно, прекрасные стихи Мюссе:

...Гигантский осетр поднимает спиной
Синий плащ океана и смотрит в молчаньи,

Как проходит светило ночей в безграничном зеркальном сиянии ...

Да, так, именно так!

Представьте только на поверхности моря, которому нет конца, широкую полосу расплавленного серебра, которая тянется прямо к луне, луне огромной, круглой и белой, среди звезд, не смеющих соперничать с ее светом... Эти десять дней среди Индийского океана — самые очаровательные десять дней из всех, которые можно провести на море!

И вот, в последний из этих десяти дней, а считая с отплытия из Марсея, на пятнадцатый, утром, на восходе солнца, когда здесь все цвета розового коралла, — мы увидим, как внезапно перед нашим форштевнем возникнет нечто необычайное, зеленое. Это нечто — Цейлон.

За полчаса до настоящего разговора мне пришлось принять участие в споре с одним из моих друзей, путешественником, подобно мне. Мне хочется, чтобы вы были судьей в этом споре. Мой друг говорил мне:

— Цейлон — это уже другой мир!

Я отнюдь не нахожу этого. Я нахожу, что Цейлон наш, вполне наш мир. Потому что в действительности Цейлон расположен по сю сторону *Великих Ворот*... А под словами «великие ворота» я подразумеваю те сказочные ворота, которые отделяют наш Запад от Дальнего Востока. Цейлон, — это еще только Индия. Я бы сказал даже больше: это Индия самая классическая, та, которую Лоти так хорошо называл «Индией больших пальм». Это слегка преувеличенная Индия наших детских книг, Индия распространенных олеографий, та Индия, которую мы все видели в наших снах. Об этой Индии говорилось очень много и с незапамятных времен; она приблизительно та, которую покорил Александр Македонский! Вы видите, таким образом, что уже издавна мы здесь приблизительно у себя дома. Индусы нам приходится родственниками. Их религия, буддизм, не так уже отличается от нашего христианства! Кажущееся различие между индусами и европейцами далеко не так подчеркнуто... Конечно, сингалезцы отличаются темным оттенком

кожи, но черты лица их жен чистейших линий. И, кроме того, в этом темном оттенке нет ничего, кроме черного и белого. При всем желании здесь нельзя открыть ту другую, специальную окраску, то «желтое», которое мы найдем по ту сторону великих ворот, на восточном лице Азии.

Нет, на Цейлоне мы еще положительно находимся у себя. Вкусы тамошних людей, их эстетизм, весьма приближаются к нашим. Я менее всего желал бы разыгрывать ученого... Но так или иначе, мне говорили ученые, которые знают все то, чего я не знаю, что наше искусство родилось из греческого античного искусства, искусства эллинского, — а что само эллинское искусство выросло из такового индусов... Выходит, что эти люди — наши прародители, что мы приходим от них. Наши европейские языки, во всяком случае, две главнейшие ветви их, латинская с одной стороны и саксонская с другой, — обе вышли из Индии. Да, на Цейлоне мы все еще у себя дома.

Правда, что все-таки это «дома» довольно необычно с первого взгляда! Но, в конце концов, оно самое прекрасное, несомненно, каким только мы могли бы похвастать. Потому что это «дома», бесспорно, самый фееричный сад из всех садов нашей планеты. Сказочные деревья, роскошная растительность, кроткое и приветливое население, великолепные виды, прекрасные животные, — кажется, что все это соединилось на Цейлоне, чтобы сделать из него нечто вроде земного рая. И, кроме того, здесь мы снова перевертываем еще одну страницу истории: Цейлон тоже страна глубокой древности. В центре острова существует город, древний, как мир. Он был построен двадцать пять веков тому назад, и разрушен через триста приблизительно лет после своего основания. Его развалины дожили до наших дней. Эту, когда-то пышную, столицу повергло в прах великое вторжение малабарцев.

Я не слишком осведомлен относительно того, что такое было это «великое вторжение малабарцев». Малоисследованная история не есть ли самая увлекательная? Мы не знаем в точности, что представляли из себя эти исчезнувшие народы; но мы можем констатировать так или иначе,

что то были народы значительные. Позже, в Китае и Индо-Китае, мы вновь придем к тому же выводу.

Итак, если на Цейлоне мы как бы у себя дома, то дом этот чрезвычайно древен, и в достаточной мере отрадно видеть в нем самого себя...

* * *

Город, в котором мы остановимся, — Коломбо: прекрасный порт, где наш пакетбот бросит якорь в полной безопасности и где он встретится со множеством других пакетботов, ибо Коломбо — перекресток мира.

Именно здесь поворачивают — путь на Дальний Восток к северу, и путь в Австралию — к югу.

Бесчисленные корабли, приплывшие со всех четырех концов нашей планеты, сходятся здесь и запасаются углем, чтобы вновь уйти неведомо куда...

Сойдем на берег. У нас будет не слишком много свободного времени: остановка продлится день, самое большее — полтора... так что нам не придется двинуться по железной дороге вглубь острова... Вернее сказать, мы, может быть, доберемся лишь до «Kandy»... Однако, прежде посмотрим Коломбо. Коломбо — город английский, английский с очень давних времен... еще с тех пор, как наместник Суффрена старался нам его покорить, и ему это почти удалось, лет сто пятьдесят тому назад.

Итак, это город английский, стало быть, мне не приходится его описывать: бунгало, веранды, зеленые лужайки, теннисы, гольфы, очень много спорта, высокие девушки, слегка поджарые (климат сушит: тут он трудно переносим)... Впечатление роскоши, немного неестественной, впечатление жизни, немного лихорадочной.. — ведь так жарко!.. Но один шаг за черту города, и уже лес... лес — абсолютно не английский.

Едва останутся позади последние домики, как тропическая природа вновь развернется во всем своем всемогуществе. Бесчисленные колонны, идущие косыми рядами, — стволы деревьев, — поддерживают лиственный свод, густой и непроницаемый... Тропический лес высокий, прямой и стройный, который окутает нас и даст нам почувствовать, что в его чаще мы весьма мало что значим, что природа нас лишь терпит, не больше, и что она наверно не позволила бы нам жить здесь в полной безопасности.

Широкие дороги, прорубленные в этом лесу, будут служить местом наших далеких прогулок.

Мы отправимся, конечно, в очень интересный отель, расположенный на расстоянии двух лье, который называется отелем «Monte Lavinia», и там нам подадут бесспорно лучшее на свете «curry»*. К вечеру вернемся обратно.

Мы будем, вероятно, немало удивлены, встретив при выходе из школ толпы индусских девочек, которые немедленно пустятся бежать за нашей повозкой или автомобилем. И, несмотря на быстрое, быть может, движение, прекрасно будут поспевать за нами рысью, чтобы выпросить несколько мелких монет.

Они отнюдь не похожи на нищенок. На их личиках такая радость, такое лукавство, что они покажутся нам очень симпатичными, радостными и грациозными. Весь их облик недалеко ушел от того, к чему мы привыкли у себя... Тут же, с первого взгляда, мы найдем их красивыми, без какой-либо необходимости к ним привыкать, акклиматизироваться: глаза у них огромные, черные, черные и блестящие; лица овальные, правильные, чистых линий... Да, мы положительно еще у себя, уверяю вас...

Однако, если б мы отважились проникнуть в глубь острова, — мы бы нашли на Цейлоне иные внешности, в силу того, что остров очень горист, и что на высоте тысячи метров температура совсем другая. Нам, простым пассажирам океанского парохода, не удастся их видеть, но мне хотелось бы дать вам некоторое о них представление... И, если вы

* Карри (англ.).

мне позвольте, я прочту вам несколько строк, оставленных человеком, который видел куда лучше меня все, на что бы он ни смотрел, — несколько строк, написанных Лоти...

(Рассказ помещен в одной из лучших его книг... «Kandy», — древняя столица сингалезских королей. Город расположен в горах, почти в центре Цейлона, близ озера, прекрасного и многоводного).

Путь, пройденный мною от Коломбо до Kandy

Этот путь — длинная, прекрасная прелюдия к очарованиям здешних мест.

Нам пришлось выехать еще до рассвета из Kandy, города сингалезских королей, и двигаться сначала по лесам больших пальм, где великолепие тропической растительности достигало крайних пределов.

Однако, уже после полудня природа изменилась; широкие листья кокосовых и ореховых пальм понемногу исчезли: по-видимому, вы вошли в более умеренную зону, леса которой ближе к лесам наших широт.

Под непрерывным дождем, горячим и душистым, по дорогам с размякшим грунтом, на маленькой тележке, которая менялась чуть ли не каждые пять километров, мы трусили, по воле наших лошадей, — то стремительным галопом, то упрямым шагом, с ляганьем и брыканьем.

Неоднократно приходилось нам поспешно спрыгивать на землю, когда одно из животных, еще неприрученных, делало попытки разломать и разнести экипаж. Два индуса управляли нашей жалкой упряжкой, постоянно подновляя ее, — один держал вожжи, а другой был готов ежесекундно схватить под уздцы лошадей, в серьезных случаях. Третий дул в трубу, чтобы убирать с нашей дороги повозки, медленно влекомые “зебу”, или когда мы проезжали деревнями, затерявшимися в кокосовой чаще. Нам обещали, что мы будем на месте к восьми, но продолжавшийся ливень все более и более отсрочивал наше прибытие.

К вечеру деревни стали все более редки, а лес гуще. Мы перестали видеть новые расчистки, — о! такие маленькие и такие затерянные среди мощных деревьев — и нашему трубачу некого было больше оповещать звуками своего инструмента.

Пальмы окончательно исчезли. К концу дня стало казаться, что перед нами, в стране вечного лета, развернулась наша европейская деревня, правда, с более мощным лесом и с волшебной чащей лиан. От времени до времени древовидный кактус или огромная красная лилия с взъерошенными волосами на лепестках напоминали об экзотизме места; или необыкновенная бабочка пересекала дорогу, преследуемая птицей блестящего оперения в неведомых красках. А там иллюзия наших полей и лесов возвращалась снова.

Итак, с захода солнца — ни деревень, ни следа человека! Великая тишина в зеленых глубинах, среди которых наша дорога разматывала свою бесконечную ленту, и где теперь мы ехали быстро, все время быстро под теплой лаской дождя.

По мере того, как спускался мрак, от земли мало-помалу начинала подниматься музыка насекомых, нарушая гармонию тишины. Мириады надкрылий вибрировали *crescendo* в чаще мокрого леса, — то была музыка тропических ночей, каждой ночи, начиная, быть может, от сотворения мира,...

Когда стало совсем черно под скрытым за тучами небом, наш стремительный бег, продолжавшийся столько часов, перешел в торжественное шествие между двух рядов колосальных деревьев. Сети лиан свешивались с них, как волосы неведомых существ, образуя подобие непомерно высоких и фантастических беседок парка, которому, казалось, не будет конца.

Случалось, что огромные черные животные, едва заметные в темноте, преграждали нам путь: то были буйволы, безобидные и глупые; их приходилось отгонять ударами бича и громкими криками. И снова пустынная монотонность дороги, и снова молчание, в котором звенела радость насекомых...

И невольно теснились думы о том, сколько ночных тайн скрывает этот лес под своим необъятным спокойствием; сколь-

ко хищных зверей, больших и малых, скрытых в засаде или преследующих добычу; сколько настороженных ушей; сколько расширенных зрачков, отслеживающих малейшее движение тени...

А впереди все та же просека уходила в бесконечность, такая же прямая, бледно-серая, между двумя высокими черными стенами. Мы чувствовали, что впереди и сзади, и со всех сторон на многие и многие мили непроходимая и тревожная чаща ветвей простирает свой тяжелый покров...

Глаза привыкли к ночи, было видно, как бывает видно во сне, и порой можно было различить, как выходили из зарослей, чтобы вновь потонуть в них, какие -то странные звери, скользившие бархатным, неслышным шагом.

Наконец около одиннадцати часов показались огоньки; по сторонам дороги громоздились длинные камни, камни развалин, а на сумрачном небе над вершинами деревьев обрисовывались гигантские силуэты "dagoba"*; меня предупредили, и я знал, что то не пригорки, а храмы погребенного города.

Мы нашли приют на ночь в индусской корчме, посреди райского сада, цветы которого выступали из мрака, освещенные нашим фонарем.

* * *

Теперь вокруг меня подлинная Индия, леса, джунгли. Мой день занялся над целым миром ветвей и трав, над океаном вечной зелени, над бесконечной тишиной и тайной, что покоилась у ног моих и простиралась до крайней черты горизонта.

С высоты холма, который поднимается, подобно островку, над равниной, я смотрю, как светлеет понемногу зеленая необъятность. Это Индия под вуалью предутренних туманов;

* Разновидность ступы (буддийского культового сооружения) на Цейлоне (Шри-Ланке) и в странах Юго-Восточной Азии.

это Индия, лес, джунгли; это мирная обитель, в центре огромного Цейлона, которую охраняет со всех сторон непроникаемая чаща деревьев; это место, где две тысячи лет назад погас в ночи ветвей сказочный город Анурадгапура.

(Это та самая столица, о которой я только что говорил, которая была воздвигнута за три века до нашей эры и разрушена через триста лет при нашествии малабарцев.

И вот что от нее осталось).

Где же, однако, он, этот волшебный город? Взоры блуждают вокруг подобно тому, как блуждают они с марса корабля по однообразной равнине океана, но нигде не заметно и следа человека. Одни лишь деревья, деревья и деревья, вершины которых тянутся друг за другом, великолепные и почти одинаковые; зыбь лесного моря, которое уходит, чтобы затеряться в безграничном просторе.

Там, в отдалении, озера, где хозяйничают крокодилы и куда в темноте приходят на водопой стада диких слонов.

Это лес, это джунгли, — и оттуда начинает доноситься ко мне утренний птичий призыв. Но сказочный город? Неужели затерялся даже след его?...

Однако там и сям, над бесконечным сводом зелени, одиноко поднимаются какие-то странные холмики, покрытые кустами; зеленые, как лес, но слишком правильных очертаний, в форме пирамид или куполов... То башни древних храмов, то гигантские “dagobas”, построенные за две тысячи лет до времени Христа; лес не смог уничтожить, он лишь покрыл их зеленым саваном, нагромождая понемногу над ними свои корни, лианы, свои заросли и своих обезьян.

Они до сих пор говорят живым языком о тех местах, где люди поклонялись божеству на заре буддизма, — и священный город, конечно, здесь. Он дремлет здесь повсюду у моих ног, скрытый под лиственным сводом.

И даже холм, на котором я стою, был некогда священной “dagoba”, и тысячи верующих трудились над ее постройкой, во славу своего пророка, — брата и предтечи Иисуса. Осно-

вание ее охраняют вереницы слонов, высеченных из гранита, боги, лица которых почти стерты веками; когда-то каждый день здесь звучала священная музыка, а боги благосклонно принимали исступление и молитвы".

Вот описание этого города, которое мы находим у одного из поэтов индусской древности:

"Нет числа храмам и дворцам Анурадгапуры; их купола и крыши из чистого золота сияют на солнце. Улицы полны воинов, вооруженных луками и стрелами. Слоны, лошади, колесницы, тысячи людей движутся вверх и вниз непрерывным потоком. Много жонглеров, плясунов, музыкантов из разных стран, цимбалы и инструменты которых украшены золотом".

Теперь здесь тишина; теперь здесь мрак; зеленая ночь. Люди ушли и лес замкнулся. И над этими развалинами, которые скоро исчезнут, утро занимается так же спокойно, как когда-то над первобытным лесом, в самые отдаленные времена мировой истории.

Тут внизу, в красной земле, целый мир, — нестройный мир обломков и развалин, меж гигантских корней, что извиваются, как змеи. Сотнями покоятся разбитые божества, слоны из гранита, алтари, чудовища, свидетельствуя об ужасающей гекатомбе символов, принесенной две тысячи лет назад вторгшимися малабарцами.

Буддисты наших дней благоговейно собрали наиболее чтимые из этих предметов вокруг неразрушенных "dagobas"; на ступенях павших храмов они положили рядами отбитые головы древних богов, и их заботливые руки покрывают каждое утро древние, уцелевшие, источенные и бесформенные алтари чудесными цветами и зажигают над ними скромные лампы. Для них Анурадгапура по-прежнему осталась священным городом, и из самых отдаленных мест, обманутые земными божествами, сюда стекаются пилигримы, чтобы найти прибежище и помолиться под сенью деревьев (подобно тому, как было две тысячи лет назад).

Размеры и очертания великих святилищ до сих пор отмечены глыбами мрамора, плитами, колоннадами, идущими от

башен, чтобы затеряться под деревьями. Вероятно, чтобы попасть к святилищу, нужно было в свое время пройти бесконечный ряд дверей, охраняемых низшими богами и чудовищами, — целым миром камня, теперь поверженным и обращенным в пыль.

Помимо этих, возвышающихся над пушистыми джунглями, храмов, существуют сотни других, разбросанных повсюду, а также остатки бесчисленных дворцов; лес заключил в себе столько же гранитных пилястров, сколько древесных стволов, и все это перемешалось под покровом вечной зелени.

Весь лес проникнут настроением какой-то странной меланхолии; она исходит от всех этих порогов, роскошных мраморных порогов, которые встречаешь здесь на каждом шагу, с их тонкой и странной скульптурой; от всех этих входов, со ступеней которых неведомые божества встречают вас приветливой улыбкой, но которые не ведут никуда больше: жилища были из дерева, и века не сохранили от них других следов, кроме мраморных ступеней и плит; у этих когда-то пышных входов теснятся теперь одни только корни, стволы и травы.

* * *

Так вот что такое Цейлон! Почти девственный лес! Когда-то здесь цвела высокая культура. А теперь наша цивилизация только и делает, что отгрызает кусочки от этого большого круглого острова.

Мы проложили дороги; мы пощадили с грехом пополам первобытный лес. Не станем же проникать в него: не то нам не избежать печальной участи, — тигр и кобра в нем, как у себя дома.

Да и кроме того, раньше чем окончится наша стоянка, наше любопытство и так будет удовлетворено свыше меры. Мы увидим слонов, крокодилов, мы увидим змей и мангуст; увидим тучи индусов и сингалезцев, которые будут

наперебой предлагать нам драгоценные камни, по большей части фальшивые, и заставляя на наших глазах, для нашего удовольствия сражаться мангусту с коброй (заранее предупреждаю, что мангуста съест кобра, а не наоборот).

Но вместе с тем мы все еще не познаем подлинной тайны Азии, этой великой желтой тайны. И только завтра, когда мы отплывем от Цейлона, в нас зародится первое смутное предчувствие.

Итак, отправляемся дальше. Нашему пароходу осталось лишь пересечь Бенгальский залив; это недолго: каких-нибудь три дня. Мы пройдем мимо Андаманских островов. Один английский романист чрезвычайно занятно описал их. Он, конечно, никогда там не бывал, потому что его живописные разглагольствования не имеют ничего общего с действительностью.

В том виде, в каком они существуют, Андаманские острова не представляют ни малейшего интереса, если не считать того, что здесь находится место ссылки для индусов. По этому поводу я хотел бы высказаться, и очень энергически, в защиту политических осужденных или иных индусов, отправляемых на Андаманские острова. По общепринятым религиозным воззрениям буддистов, факт морского плавания является великим грехом в глазах божества; так что кто-либо, сосланный в каторгу на Андаман, если он истинно верующий, в силу этого, является вдобавок осужденным на вечные муки, что, конечно, страшно несправедливо. Как вам кажется?

Я полагаю, что европейцы-судьи должны были бы задуматься над этим и не делать другим того, чего они не желали бы перестрадать на собственной персоне.

* * *

На третий день с правого борта появился туманный берег, на этот раз довольно высокий и негостеприимный. Не

мешает знать, что там находятся каннибалы: то Суматра.

Я всегда очень жалел, что путь в Индию лежит через Малаккский пролив вместо того, чтобы проходить значительно южнее; по этой причине мы лишаемся случая видеть Яву. Но обычный путь минует ее.

Вскоре с левого борта начинает быть виден полуостров Малакка, который открывается понемногу. Мы вступили в полосу тумана. С великолепной погодой приходится распрощаться, но мы ее видели в достаточной степени. Мы пересекли Индийский океан (быть может, была даже разыграна салонная комедия, — кто знает? до того погода была хороша!), а завтра будем в Сингапуре.

Сегодня вечером пакетбот скользит в предательском тумане... и нам не хочется выходить на палубу. Не пойти ли, от нечего делать, чтобы убить часок, другой, подальше от наших обычных местопребываний, — в бар? Чтобы попасть туда, придется пройти несколько узких коридоров...

Позвольте, позвольте! На пароходе появилось нечто новое! В самом деле, что это за запах? Да, да! это запах необыкновенный, и далеко не из приятных! С Цейлона мы приняли на борт несколько жителей Небесной империи, направляющихся в Сингапур; больше ничего и не требуется!

Но необходимо привыкнуть; а в этот первый момент у вас ощущение, как будто вы внезапно переменили материк и что та пресловутая дверь, что открывается на Дальний Восток, не так уж далека.

Мы пройдем через эту дверь в действительности, — и даже раньше, чем прибыть в Сингапур. В один прекрасный вечер, слева от нас, мы увидим Малакку, как видели справа Суматру. Покажутся острова, открывая узкий проход. Большая дорога здесь суживается, переходит в тропинку, тропинку столь узкую, что невольно спрашиваешь себя, — сможет ли пройти здесь пароход.

Но он все таки проходит, и внезапно море снова расширяется; мы прошли ворота. Мы обогнули Малаккский полуостров, самый южный в Азии, мы касаемся экватора; несколько миль еще, — и наш форштевень заехал бы в южное

полушарие... Но... «лево на борт!» — и мы поднимаемся к северу.

И вот мы по ту сторону Азии, там, где все непривычно и полно тайн. На том Дальнем Востоке, куда я вас вел. Пока еще на пороге. Но все-таки остановимся.

Сингапур. О, какая разница, как он не похож на Цейлон! Там была Индия, мечтательная и религиозная; здесь, если не Китай, то его прихожая, многолюдная и кишащая, как он.

В Сингапуре прежде всего нас поразит толпа. На Цейлоне мы блуждали в лесу; в Сингапуре мы заблудимся в море людей. Мы пойдем здесь улицами, запруженными опаковой толпой, которая идет, бежит, спешит, волнуется и кричит. Мы будем рассекать эту желтую толпу, как рассекают волны моря, между двух нескончаемых линий домов, выкрашенных, как один, в синее. Мы перейдем мосты, перекинутые с узкими промежутками над бесчисленными «аго-газ» и, тем не менее, не увидим воды: на реке такое количество лодок, до того стиснутых одна возле другой и прижатых, что между ними невозможно рассмотреть даже щелки водного пространства; и каждая из этих лодок перегружена кишащей толпой женщин, мужчин и детей, которая волнуется и испускает крики. Китай здесь начинается по-настоящему!

Сингапур — город китайский, потому что населен он по большей части китайцами. Кроме того, это город также английский и, следовательно, мы найдем здесь и теннисы, и гольфы, и большие зеленые лужайки и один из самых роскошных в мире садов. Мы сможем в этом саду погулять, но не торопясь, потому что со всех сторон нас давит жара Дальней Азии. А это не сухая и здоровая жара Цейлона, но жара тяжелая, влажная, тупая; жара, в которой чувствуются миазмы лихорадки и болота. Сингапур имеет репутацию далеко не здорового города. И эта репутация, поверьте мне, не преувеличена.

В последний раз завертится вечная судовая шарманка, — опять будут грузить уголь. Опять, хочешь не хочешь, придется обедать на берегу, а на судно попасть только к ночи.

Впрочем, Сингапур стоит того, чтобы посмотреть на него при огнях. Да! тут нам придется испытать чувство глубокого удивления и увидеть массу вещей, неожиданных, странных, волнующих даже... потому что тут мы, действительно, не у себя больше, и в этом приходится быстро отдать себе отчет.

При этом здесь вокруг никаких великих исторических воспоминаний на этот раз. Суматра, Ява — земли новые... Я хочу сказать, такие, прошлое которых нам неизвестно... равно, как и полуостров Малакка. На самом деле, Сингапур никоим образом не индо-китайский город. Силою обстоятельств здесь просто создан был значительный город с населением в триста приблизительно тысяч жителей, так как того требовала мировая торговля.

А китайцы пришли сюда сотнями тысяч, потому что везде, где большое коммерческое или индустриальное предприятие требует внезапно много рабочих рук и много энергии, и много терпения, — там, на Востоке, немедленно устремляют взоры на Китай и всегда приходит именно китаец.

Этот китаец, при наличии превосходной английской дисциплины, дает полное удовлетворение тем, кто его позвал. Не бойтесь ни ошибок в расчете, ни неожиданностей...

Ровно в полночь начинается чистка. Утром Сингапур уже исчезнет из вида. Мы поплывем по Китайскому морю. На этот раз перемена очевидна.

* * *

Вы, наверно, помните, что нам пришлось выехать зимою и, благодаря этому, на сорок дней морского перехода выпало двадцать пять дней прекрасной погоды, а это чего-нибудь да стоит! Но, начиная с Сингапура, приходится сказать себе, что красные денечки для нас кончились, и рассчитывать на хорошее нам не приходится. Теперь мы идем с северным муссоном. Море бурное, ветер жестокий. Наш пароход покажет нам и килевую, и боковую качку; с салонными комедиями, с балами и вечерами будет покончено, а

для многих пассажиров даже и с обедом! Но это недолго, — три с половиной дня... Мы, конечно, не оставили намерения плыть в Китай; но мы — французы, а потому сначала высадимся в Индо-Китае и сделаем долгую остановку в Сайгоне.

В Сайгон приходим через три с половиной дня после Сингапура. Итак, сложим чемоданы, закроем мешки, портпледы и несессеры, потому что сегодня мы покидаем пароход. Но я хотел бы раньше, чем мы бросим якорь, дать вам представление о первом впечатлении от берегов Индо-Китая. Ибо это впечатление из очень значительных...

Мы видели Порт-Саид, мы видели Египет и Аравию, видели Цейлон, Джибути и Сингапур... Но все-таки, мы не видели еще того, что сейчас увидим.

Вскоре пароход наш подойдет к невзрачному, низкому берегу, сплошь покрытому корнепусками; там, дальше, покажутся тесными группами деревья. Сайгон построен не на берегу моря, а на правом берегу многоводной реки, и потому войдем в нее и потихоньку двинемся против течения. Справа и слева болотистые равнины, группы низкорослых корнепусков; деревья рассеяны там и сям; а дальше лес Кохинхины, сказочно-зеленый.

Река извилиста, пароход то и дело поворачивает, огибает мысочки, обходит мели; и вдруг, внезапно, далеко, далеко нечто неожиданное вздымается над лесом: две колокольни собора... Да, именно французский собор встречает нас здесь еще до прибытия в Сайгон, еще за три часа до того, как наш пароход бросит якорь.

II

В ИНДО-КИТАЕ

Вот я довел вас от Парижа до Сайгона. Раньше, чем следовать дальше, в Китай, сделаем здесь продолжительную остановку, бросим взгляд на самую богатую из колоний.

Итак, мы в Сайгоне. Пароход только что ошвартовался у набережной. Взглянем отсюда на город, самый старинный французский город на Дальнем Востоке; мне помнится, что французы пришли сюда в 1859 году!

Многоводная широкая река, пристани, бесчисленные суда. Наш пароход у набережной. Экипажи подъезжают за нами почти к самому трапу... Точь-в-точь, как «такси» Парижа у дверей Колизея... Там, на другом берегу реки, лес, настоящий лес и очень красивый; три этажа зелени один над другим! Внизу бамбук, тростник, кусты, над этим полоса темной зелени, усыпанной цветами, а еще выше величественные султаны бетелевой пальмы... Здесь — на правом берегу, наоборот, город, цивилизация. Впрочем, сначала нам покажется, что оба берега — и левый, и правый — одинаково покрыты деревьями; Сайгон действительно весьма тенистый город. Это довольно обширное поселение, — около ста или ста пятидесяти тысяч жителей. Кроме того, рядом с этим городом, английским, вырос другой — китайский, Шолон, еще более населенный. Индо-Китай населен аннамитами, тонкинцами, камбоджианцами или лаотийцами, — все племенами, весьма отличными от китайцев. Но, как и всюду, где приходится выполнить какую-нибудь тяжелую работу, довести до благополучного окончания какой-либо гигантский труд, — сюда пришли и китайцы.

Китайский рабочий действительно работает значительно лучше и прилежнее, чем какой угодно другой. — Но мы еще к нему вернемся...

А теперь, — на берег!

Для начала познакомимся с аннамитами. Те аннамиты, которых мы встречаем здесь, в Сайгоне, не похожи на подлинных аннамитов Аннама: Сайгон, в конце концов, — лишь колония Гюэ. В давно прошедшие времена он составлял часть камбоджийских владений, то есть царства Хмеров, которые корнями своими исходили от царств индусов, чистейших индусов. И обратно: аннамиты, пришедшие из Китая, как говорят, сорок пять столетий тому назад, были несомненно монголы. В те отдаленные времена Китай фактически состоял из трех провинций: Чен-си, Чан-си и Хонан. Тогда это была действительно Центральная Нация, по преимуществу, — Центральная Империя; с юга к нему прилегали владения народностей, которые, по-видимому, и являлись предками аннамитов. Эти аннамиты пришли в Индо-Китай; и, по мере того, как царства камбоджийцев сходили на нет, владения аннамитов расширялись: таким образом, мы встретим в Сайгоне смешанные племена и, вероятно, на первых порах станем путать их между собою — настолько климат сравнивал их с течением времени по внешности. Но ко всем этим народностям я еще вернусь вскоре.

Сам город очень и очень «французский».

Существует три сорта французских колоний: старые, молодые и те, о которых я осмелюсь выразиться, — «среднего возраста».

Старые — это те, что восходят к временам старой монархии; так, например, наши индийские станции: Пондишери или Магэ, наш мыс Соединения, наш Мартиник или Гваделупа. Все это по большей части имеет вид страшно обветшалый, вид пережитка, старины милой. Обратно — в наших молодых колониях и в странах, находящихся издавна под протекторатом, — в Марокко, например, — мы находим чрезвычайное изобилие энергии.

Индо-Китай держится как раз посередине: в нем есть очарование мест с глубоким прошлым.

Сайгон, с его красивыми тенистыми улицами, осененными, по большей части, «пламенными» деревьями («пламенные» — деревья с сильно изрезанными, очень светлыми листьями, которые цветут великолепными красными цве-

тами всевозможных оттенков), с маленькими, в большинстве случаев низенькими домиками, с террасами, — домиками, весьма благоустроенными, комфортабельными и прохладными, стены которых часто не доходят до потолка для того, чтобы малейший ветерок мог проникать туда беспрепятственно, — Сайгон имеет вид старинного французского города в колонии; только в этом старинном колониальном городе кишат автомобили и сияет электричество. Мне кажется, что в Сайгоне насчитывают не более пяти или шести тысяч европейцев. Но все эти европейцы являются владельцами, директорами, хозяевами, людьми, у которых есть экипаж и которые, несомненно, «преуспевают»; они создают здесь жизнь, почти равную жизни больших городов с двумя или тремя сотнями тысяч жителей.

* * *

С первых же шагов мы будем изумлены роскошью, элегантностью и красотой Сайгона, — экипажи, рикши, автомобили и толпы прогуливающих... Особенно после шести часов вечера... (Не следует забывать, что мы находимся в стране с довольно грозным климатом).

В Сайгоне не слишком жарко, — термометр редко показывает больше двадцати восьми, двадцати девяти градусов, но зато еще реже опускается до двадцати семи, и так круглый год, зимой и летом. Первое ли января или первое августа, полдень или полночь, все равно: неизменно двадцать восемь, двадцать девять градусов; а ничто не действует в такой степени на малокровие.

Тяжелая и влажная жара давит здесь почти так же, как в Сингапуре. Прибавьте к этому солнце. Когда-то я рассказывал об африканском солнце, о солнце Сахары и Нубии, об ослепляющем, покоряющем, торжествующем солнце.

Но солнце Африки, на которое не осмеливаются глядеть даже орлы, не злое солнце: оно никого не убивает.

Оно лишь слегка утомляет, ошеломляет, но и только. Солнце Азии, солнце Индо-Китая, — таинственное, закрытое дымной вуалью, ужасное солнце.

По большей части его едва видно из-за беловатых облаков, а нередко оно скрыто совершенно. Но оно убивает и убивает мгновенно. Не вздумайте, встретив на улице вашу приятельницу, приветствовать ее, сняв шляпу, как вы привыкли делать в Париже, — это может стоить вам дорого, даже очень дорого, — стоить жизни!

Подобные вещи случаются, я сам был тому свидетель. Солнце Азии, — солнце, лучи которого действуют химически, и эти лучи способны вызвать в вашем мозгу какие-то пертурбации, убийственные и молниеносные!

А там... Кладбище, то самое сайгонское кладбище, слишком обширное и слишком населенное, о котором первые колонисты говаривали с беззаботной и добродушной усмешкой, — «наш акклиматизационный сад!». Они хотели этим сказать, что приучиться к климату Кохинхины можно только здесь...

Помимо пяти тысяч европейцев, мы познакомимся в Сайгоне с сотней тысяч аннамитов, населяющих этот город. У нас хватит времени оценить по достоинству и их искусно причесанные волосы, и замечательные головные уборы, темные округлые лица, длинные тонкие руки и их (не сумею точно выразиться) нежность, что ли, и шаловливую и томную в одно и то же время. Женщины носят украшения из золота и кораллов, что чрезвычайно идет к их матовой и тонкой коже. Мужчины бреют и усы, и бороды, за исключением разве древних стариков. Первые месяцы пребывания здесь вы, легко может статься, будете смешивать оба пола, что иной раз смутит вас немало.

Аннамиты — племя кроткое, бесконечно миролюбивое и в достаточной степени беспечное.

Все дальше и дальше идем мы по веселым и живописным улицам... И вот уже Сайгон позади, и мы входим в Шолон, — китайский город.

Обстановка меняется, как по волшебству! Другие улицы, другие дома, другие люди, другие нравы. Мы в Китае,

в вечном, недвижимом Китае. Вместо темнолицей, беспечной, смеющейся или, по временам, задумчивой толпы, которую мы только что наблюдали, вокруг нас кипит желтая, бурлящая масса, распространяя терпкий запах. Она все время стремится, вопит неумолкаемо и работает, работает с остервенением, какое трудно даже вообразить!

Я постараюсь дать вам некоторое представление о мощи китайца, как рабочего, мощи, являющейся его основной особенностью: три четверти ремесел в Сайгоне находятся в руках «жителей центральной империи»; вы не найдете ни сапожника, ни портного-аннамита: все они китайцы.

У меня был поставщик, который совмещал обе эти специальности; он жил на улице «Катина», как все уважающие себя сайгонские торговцы; его звали Ли-Куи. Само собой разумеется, это был чистокровный китаец.

Я заказывал по мере надобности ему все одеяния, что принято там носить, то есть блузки и брюки из белого полотна для ношения днем, смокинги из белого пике на вечер, а на ночь пижамы из тонкого перкаля. Здесь настолько жарко, что приходится, как общее правило, менять костюм раза три в день; а если вам вздумается отправиться на бал, то придется захватить с собой штук пятнадцать накрахмаленных воротничков, чтобы протанцевать семь-восемь часов (в Сайгоне танцуют до позднего часа); вы будете вынуждены отправляться в комнату для переодеваний после каждого фокстрота, вот и все!

Так вот, мой портной снял с меня мерку всего раз и, тем не менее, не испортил ни одной вещи. У него был паршивенький магазинчик и всего-навсего один помощник.

В один прекрасный день (то был последний из пятидесяти дней, проведенных мною в Китае) я отправился в обратное путешествие. Я сел на пароход в одном из японских портов. В Сайгоне мой пароход сделал остановку; он прибыл туда в десять часов утра и уходил дальше после полуночи. Я сошел на берег, отправился к Ли-Куи и сказал ему:

— Ли-Куи, я уезжаю сегодня с пароходом; мне бы хотелось, чтобы за это время ты мне сшил кое-что, — джиги-

ну костюмов из белого полотна, дюжину пижам и дюжину ботинок на кожаной подошве с полотняным верхом, — все, разумеется, по мере.

— Хорошо, каптэн.

(Было десять часов утра, прошу не забывать).

— Хорошо! Вечером все будет готово.

— Вечером? Я в котором часу?

— Пароход уходит после полуночи?.. Ну, вот! Значит, к двенадцати часам. Каптэн, наверное, пойдет в театр?

(В Индо-Китае все европейцы «каптэны»: милый и любезный способ обращения).

— К окончанию спектакля все будет готово.

— Но лавочка твоя закрывается с девяти часов вечера?

— Сегодня она будет открыта сколько понадобится.

Забыл сказать, что белый полотняный костюм стоил здесь десять франков, а ботинки по два франка пятьдесят пара, причем работа была безукоризненная.

Отправляясь позавтракать часов в двенадцать, я вновь проходил той же улицей и стал свидетелем любопытной сцены: лавчонка Ли-Куя внезапно выросла! Около сорока портных работали, сидя прямо на тротуаре. Ли-Куй увеличил рабочий персонал, чтобы поспеть с заказом.

А ночью, после театра, подойдя к лавочке, я действительно нашел ее открытой. Ли-Куй, улыбаясь, курил опиум с удовлетворением человека, окончившего свой труд, а рядом с его курительным прибором ждал меня огромный узел, завернутый в черный люстрин. В нем находились мои две дюжины костюмов и дюжина ботинок.

— Вот! — произнес китаец.

Я имел дело с китайцем, а потому, конечно, не рискнул вскрыть пакет, чтобы проверить заказ. Я нанес бы ему этим смертельное оскорбление. В коммерческом деле слово китайца имеет куда большее значение, чем любой европейский документ. Он произнес: «Вот!» — этого было достаточно. Я уезжал той же ночью, я не смог бы никак предъявить моему портному какие-либо претензии: не из Франции же, в самом деле, стал бы я возбуждать против него дело! И, тем не менее, он поступил корректно, честно, согласно своим

понятиям о чести, как представитель «китайской расы», так именно, как повелел Конфуций!

Согласитесь, что портные, способные сшить в течение четырнадцати часов тридцать шесть одеяний, это нечто такое, с чем конкурировать, против чего бороться почти невозможно.

Аннамиты давно отказались от этой борьбы. И вот чем объясняется, что рядом с Сайгоном мы видели Шолон, город столь населенный и столь превосходящий его богатством. В нем сто двадцать тысяч жителей, если не ошибаюсь, против ста в Сайгоне, и столько миллионов, что их можно противопоставить любому крупному бюджету.

Мы пройдем весь Шолон насквозь, а потом сделаем небольшую прогулку за город.

* * *

При самом выходе из Шолона нечто чрезвычайно азиатское, — «Долина могил». У азиатов совершенно иное представление о смерти, нежели у нас. В Азии умерший навеки сохраняет за собой свое последнее жилище, и никто из живых не смеет к нему прикоснуться.

Конечно, умершему не бог весть сколько требуется места, но так как Азия существует с незапамятных времен, этих умерших бесконечное множество, а потому и кладбища занимают необозримые пространства.

Представьте себе безграничную равнину, всю усеянную могильными холмиками из пыли, — «горстями пыли, под которыми спят другие горсти пыли», — и так до самого горизонта! Чтобы пройти эти владения мертвых, чтобы пересечь кладбища Дальней Азии, нужно много, очень много времени!

Когда мы выберемся, наконец, из этой странной равнины, более странной, нежели печальной, мы внезапно очутимся в деревне, в деревне дельты Кохинхины, которую образует река Меконг. Равнина Кохинхины необычайно пло-

дородна и изумительно обработана. Насколько хватает глаз, кругом зеленеют великолепные луга, которые при ближайшем рассмотрении оказываются рисовыми полями, и колыхаются леса бамбука и бетелевой пальмы, искусственно разведенные леса.

Дорога тянется по исключительно приятной местности, которую называют «инспекцией» и которая для Сайгона является тем же, чем для нас Булонский лес и, в частности, наши парижские «акации». Это значит, что каждый вечер, от пяти до семи, здесь на протяжении около четырех километров медленно движутся четыре ленты автомобилей и из экипажа в экипаж летят улыбки и поклоны. Тут собираются все зонтики Сайгона...

Эта европейская толпа, которую мы сами будем «инспектировать», стоит того, чтобы взглянуть на нее. Придется слегка нагнуться, ибо все лица благоразумно прячутся под пробковыми шлемами... да, и женские тоже! На шлемах женщин — белая лента и только. Никто никогда не приподнимает здесь шлема, даже во время поклона; *солнце*, — берегитесь! Но, конечно, только до шести вечера, потому что в это время солнце скроется за горизонтом, и в тот же момент все головы обнажатся.

Кончено! Опасности больше нет до завтрашнего утра. И нужно пользоваться этим, чтобы вздохнуть свободно.

Изнурительная жара создает в Сайгоне жизнь, которую легко назвать странной. Здесь все встают рано. В теннис играют обыкновенно от пяти утра, потому что в восемь все должны уже разойтись по домам, — начинается владычество зноя, — берегитесь! От восьми до десяти работают, потом завтракают; после завтрака «съеста». После полудня сон под покрывалом от москитов... или, вернее, бессонница, приятная, тем не менее... А около четырех с половиной, пяти дня, — вон из постели! Снова работа, и конец. Затем прогулка, «инспекция», а там перемена туалета. — Сударыни, обнажайте ваши плечи, и как можно ниже! Такова мода в Кохинхине...

И... «*honni soit qui mal y pense*»*, — ведь здесь так жарко, так жарко! Да и кроме того, придется обедать и после танцевать...

Ночи Сайгона и оживленны, и милы... И так это тянется здесь круглый год!

Здесь только два сезона, — сухой и мокрый; но оба, повторяю, одинаково трудно переносимы, одинаково изнуряют и лишают силы. Нужно большое присутствие духа, чтобы убеждать себя ежечасно, что живешь, что стараешься жить во что бы то ни стало...

Не думайте, что все, что я рассказал о климате Сайгона, может быть приложено ко всему Индо-Китаю! Отнюдь нет, Индо-Китай огромная страна! Чтобы проехать на пароходе от Сайгона до Ханоя, нужно потратить около трех дней, то есть ровно столько, сколько требуется на переезд от Бордо до Казабланки или от Парижа до Варшавы! Так вот, климат Сайгона также мало похож на климат Ханоя, как климат Варшавы на климат Парижа! В Ханое гораздо теплее, чем в Сайгоне, летом и гораздо холоднее зимой. В Ханое температура опускается до пяти градусов ниже нуля и поднимается выше сорока пяти. В Сайгоне же совершенно другое, — здесь не знают температуры выше 30 градусов и ниже двадцати восьми.

По этому поводу приходится пуститься в ученые рассуждения. Чтобы говорить серьезно об Индо-Китае, необходимо коснуться географии!

* * *

Существует старинная поговорка, кажется, аннамитская, которая сравнивает французский Индо-Китай с сухой вет-

* «Да стыдится тот, кто дурно об этом подумает» (*фр.*). Девиз ордена Подвязки и легендарная фраза учредителя ордена, английского короля Эдуарда III, произнесенная, когда графиня Солсбери уронила во время бала подвязку.

кой, по обеим концам которой прикреплены две грозди бананов. Сухая ветка — это побережье Аннама, гористое, скалистое, бесплодное; а грозди бананов по обоим концам, — две дельты: дельта Меконга на юге и дельта Красной реки на севере... то есть Кохинхина и Тонкин, и та и другой невероятно плодородные и богатые баснословно. Сама Беотия менее плодородна, чем эти китайские дельты. Только дело в том, что аннамитская поговорка сложилась в давно прошедшие времена, а в настоящее время приходится вместо двух гроздей бананов по концам ветки говорить о четырех: рядом с Кохинхиной выросла Камбоджа, а у Тонкина появился сосед в лице Лаоса. В них тоже «красные земли», сказочно плодородные.

Кстати, — раз мы упомянули о Камбодже и Лаосе, то давайте бросим беглый взгляд на жителей, которые там обитают...

Ведь нельзя же думать, что во всем Индо-Китае существует всего лишь одно племя. Об этом свидетельствует само название «Индо-Китай»... Тут и Китай, и Индия, и Восток, и Запад.

Почти все племена Лаоса и Камбоджи и многие племена на севере Тонкина пришли с запада, и по происхождению индусы. Здесь находилось царство Хмеров, разрушенное в незапамятные времена; с тех пор оно восстанавливалось раза три или четыре различными племенами, неизменно арийскими, и вот от них и ведут начало жители Камбоджи наших дней.

Аннамиты же — выходцы из Китая. Отсюда, — вы понимаете сами, — и два этнических элемента, различных в корне... и две в корне же различные истории.

Если угодно, начнем с Камбоджи, тем более, что мы отправились из Сайгона, а это совсем рядом и, в частности, с ее настоящей столицы Пном-Пен. В ней находятся знаменитые развалины древней столицы этого царства, — Ангхоры, являющейся, несомненно, колоссальнейшим религиозным памятником в мире. Ничто ни в Индии, ни даже на Борнео, не может сравниться с Ангхорой... Как по размерам, так и по изысканности архитектуры, на нашей плане-

те нет ничего равного ей.

Ангхора — памятник религиозного культа, браманизма. Религия Браммы утвердилась в Индокитае за два приблизительно века до рождения Христова и держалась здесь без помех на протяжении двенадцати столетий. Затем явился буддизм и вытеснил культ Браммы.

Под этим буддизмом нужно разумеать буддизм «Великой колесницы» (приношу извинения за то, что оперирую столь специальными выражениями)... буддизм «Великой колесницы», то есть буддизм самый чистый, первичный, неизменный, — тот, который исповедуют еще на Цейлоне и в Тибете, но нигде более, ибо вся Индия в настоящее время уклонилась в сторону буддизма «Малой колесницы», в котором религии меньше, чем суеверия, и который в достаточной степени выродился.

Итак, памятники хмеров браманического происхождения, в этом сомневаться невозможно. Более того, — в Камбодже до сих пор мы находим смутные отголоски мертвой религии.

Так, при дворе в Пном-Пене, при особе царя состоят сановники и должностные лица, полномочия и обязанности которых чисто ритуального характера; и ритуал этот браманический, и в высшей степени строгий.

А танцовщицы? Очаровательные танцовщицы из Камбоджи, которых многие из нас имели случай видеть в Париже или Марселе, — они, несмотря на их ослепительную юность, вместе с их танцами восходят к временам отжившей религии Браммы, отжившей пятнадцать или двадцать веков тому назад...

Одно время здесь утвердилось племя, пришедшее с юга, которое называлось «чам», — племя мусульманское. Но оно было поголовно истреблено аннамитами что-то около XIV столетия нашей эры. Теперь от него осталось лишь воспоминание.

Царство Хмеров, оставившее после себя сказочный след, — руины Ангхоры, заставляет чувствовать свое бывшее величие, свою значительность, стоящую, без преувеличения, на грани чудесного...

Но оно было мало-помалу захвачено, с одной стороны, аннамитами, спустившимися из Китая, с другой сиамами, пришедшими никому не известно откуда... Все это привело к тому, что когда мы, французы, утвердились в Индо-Китае, то в Камбодже оставалось немного чего: несколько чудом уцелевших провинций, угрожаемых отовсюду, и король... король-вассал императора Гюэ!.. «Вассальный король», — этим все сказано... не правда ли?

Вот почему в Камбодже наша колонизаторская деятельность встретила сочувствие всего населения, видевшего в нас освободителей.

Та же колонизация или интервенция, или... почему же кошек не называть кошками?... тот же «протекторат» был значительно хуже принят в Аннаме. Дело в том, что Аннам, народ которого являлся народом-завоевателем, который на протяжении всей своей истории, начиная с мифических времен, боролся с Китаем, могущественным и склонным к набегам, — мы казались ни более ни менее, как налетчиками.

Аннам действительно боролся с Китаем в продолжение трех или четырех тысяч лет. До нас дошло предание о двух сестрах-аннамитках, история которых весьма напоминает историю Жанны д'Арк, — обе пожертвовали собой во имя родины и погибли, пытаясь освободить Аннам от китайского ярма. Казалось бы, народ Аннама, завоевавший сначала свою территорию, а затем героически защищавший ее, сумевший избежать рабства Китая и покоривший Кохинхину с тремя провинциями Камбоджи, а впоследствии свирепо уничтоживший племя «чам» в XIV веке, — казалось бы, повторяю, должен был быть народом героическим, очень энергичным, могучим народом... Но каково же будет наше разочарование, когда мы познакомимся с ним на свободе, там, где он «у себя дома», то есть в Гюэ или Ханое. Прежде всего, мы убедимся в том, что этот таинственный народ, столь древний и столь умудренный, страшно переменился, как характером, так и наклонностями, составившись и оставив за собой тридцать или сорок веков, что насчитывает его достоверная история.

* * *

Прежде чем добраться до Тонкина, я хотел бы сказать два слова о памятниках Хмеров и пагодах Аннама... Дело в том, что если нам известна в какой-либо степени история Индо-Китая, то узнали ее мы только благодаря этим памятникам и пагодам. Я мог бы рассказывать об Ангхоре без конца; да и не я один, а чуть не весь мир... Но к чему? Разве все вы не видели множество раз картины, рисунки, скульптуру или предметы, дающие точное представление об Ангхоре? На колониальных выставках, быть может, или по бесчисленным фотографиям, столь распространенным. Вам знаком, значит, необычайный вид этих возвышающихся одна над другой колоссальных террас, над которыми царят купола в форме тиары, и все это покрыто изысканной скульптурой, резьбой, ажуром, выделанными кропотливо и тонко — и вместе с тем так, что никогда деталь не умаляет величия линий ансамбля.

Теперь эту столицу, не уступавшую по величине Парижу, затопил лес; от нее едва уцелело несколько гигантских храмов, которые спят глубоко, покинутые священниками и правоверными, и только тишина леса кругом... великая... бесконечная...

Но оставим Ангхору, с ее общеизвестными красотою, и остановимся подольше на других таинственных пагодах, скрытых в недрах Аннама, происхождение которых отнюдь не индусское. Я говорю о тех необычайных памятниках, что находят хотя бы около Гюэ и которые увековечивают чисто азиатское прошлое.

Лоти посетил, если не ошибаюсь, в 1883 г. знаменитую Мраморную гору... Вот рассказ его об этом изумительном и волнующем посещении. Спутником ему был китаец Ли-Лоо, весьма элегантный, одетый в оранжевое с зеленым...

* * *

Подземная пагода

Мраморная гора со всех сторон поднимается отвесно.

— Ли-Лоо, где же великая пагода?

Ли-Лоо улыбается:

— Ты увидишь!

Я ничего не вижу. Вижу только дикую гору, иглы мрамора и висящую зелень.

Оранжевый с зеленым Ли-Лоо говорит, что нужно подниматься, и проходит вперед. Открывается большая мраморная лестница, высеченная в скале. Барвинки стелют по ступеням роскошный розовый ковер.

Мы поднялись на половину высоты лестницы, когда показалась пагода; ее скрывали от нас лианы и камни. Она в глубине глухого двора, в подобии небольшой, мрачной долины. Розовый барвинок покрыл так же, как и лестницу, плиты этого двора.

Пагода вся оцетинилась рогами, когтями и какими-то ужасными вещами неясных и пугающих очертаний.

Века пронесли над ней. У нее вид склепа, замороженного жилища, построенного здесь духами.

Я спросил у Ли-Лоо, оранжевого с зеленым:

— Это и есть пагода, из-за которой мы пришли?

Ли-Лоо улыбнулся:

— Нет, еще выше...

Поднимаемся еще выше по мраморной дороге. От времени до времени можно видеть необъятную печальную равнину, которая уходит вдаль глубоко под нами, песчаные дюны или зеленые луга, по которым пасутся буйволы. Далеко на западе, до самого Гуэ, тянутся горы Аннама, наполовину скрытые облаками...

Перед нами вырастает портик, под которым проходит дорога. Он выдержан в стиле сновидений; на нем рога и когти; кажется, что он — осязаемое воплощение тайны. Над ним пронеслось столько веков, что он, как будто, породнился с горой, — все серые выступы, что видны кругом, из того же

мрамора и того же возраста. Дверь, ведущая в странные владения, которые не желают, чтобы в них проникли...

— Ли-Лoo, скажи мне, — это ли, наконец, дверь пагоды, которую мы пришли смотреть?

Ли-Лoo снова улыбается:

— Да, сама гора и есть пагода. Эта гора подвластна духам, она заколдована. Нужно выпить, еще выпить «сам-шу».

И он снова наполняет рисовым спиртом маленькие разри-сованные чашечки, что несет за нами желтокожий слуга.

Мы проходим портик, и перед нами открываются две доро-ги: одна поднимается, другая сходит вниз. Обе исчезают за таинственными поворотами, среди серых скал...

Ли-Лoo как будто колеблется минуту, но затем выбирает правую, которая спускается вниз. И мы вступаем в подзем-ное, заколдованное царство... Действительно, — сама гора и есть пагода.

В подземных галереях живет целый мир ужасающих идо-лов; в недрах горы нечисто, чары спят в глубоких провалах... Здесь все божества буддизма, и еще гораздо более древние, имен которых не знают даже бонзы... — Здесь человекопо-добные боги то стоят во весь рост, сверкая золотом и огром-ными, суровыми очами, то дремлют, сидя на корточках, за-крыв наполовину глаза, с улыбкой вечности на устах.

Они то одиноки, неожиданно выступая в каком-нибудь темном закоулке, то собраны толпой и сидят кружком под мраморными сводами, в зеленоватом сумраке пещер. На голове у каждого красная шелковая шапочка. Некоторые надвину-ли ее на глаза, как будто спрятались, и видно только их улыбку; чтобы увидеть лицо, нужно шапочку приподнять.

Позолота, китайские краски их костюмов до сих пор сох-ранили подобие свежести и блеска. Но они очень старые, тем не менее, — их шапочки изъедены червями. Они напоминают необыкновенно сохранившиеся мумии.

А ниже, еще гораздо ниже, в подземных пещерах, покоят-ся другие боги, — на них нет ни красок, ни позолоты, имена их неведомы никому, в их бородах сталактиты, а на лицах маска селитры. Они старые, как мир. Они существовали еще в

те времена, когда наш Запад был лесом, девственным и холодным лесом пещерного медведя и большого лося.

Надписи вокруг них не на китайском языке; эти надписи сделала рука первобытного человека задолго до всех известных эпох; их начертания кажутся еще древнее туманной эпохи Ангхоры.

Боги до-дилювиального периода, окруженные непостижимыми вещами. Бонзы чтят их наравне с другими, и ниши их пахнут ладаном.

.

Когда мы вышли из подземелий и снова поднялись к верхнему портику, я сказал Ли-Лоо:

— Твоя «великая пагода» прекрасна!

Ли-Лоо улыбнулся:

— «Великая пагода»... Ты ее еще не видал!

С этими словами он повернул, на этот раз влево, по восходящему пути...

Нам преграждает путь еще один портик в неведомом стиле. Он ничем не напоминает первый, его необычайность совершенно иного порядка.

Он прост до крайности, но в этой простоте нечто от «никогда не виданного». Эта простота как будто квинтэссенция и последнее слово всего. Чувствуется, что эта дверь ведет куда-то за пределы, и что там, куда она ведет, небытие в вечном покое. Скульптура портика в расплывчатых завитках, образах, которые переплетаются в подобии мистических объятий, без начала и конца, — вечность, где нет ни печали, ни радости, растворение в небытии и покой, покой в абсолютном *ничто*...

Мрак... Потом впереди что-то светлеет; но то не дневной свет: то зеленоватый отблеск, подобный отблеску бенгальского огня.

— Пагода! — говорит Ли-Лоо.

Неправильной формы дверь, окаймленная сталактитами... Мы в самом сердце горы, в высокой, обширной пещере,

стены которой облицованы зеленым мрамором. Отдаленные углы ее потонули в прозрачном полумраке, напоминающем морскую воду, а сверху, из отверстия, через которое смотрят на нас большие обезьяны, падает сноп ослепительного блеска необычайной окраски: кажется, как будто находишься в гигантском изумруде, освещенном лунным лучом... Пагода, боги, чудовища, собранные в этой подземной мгле, в этом апофеозе зеленого рассвета, сияют невиданными красками, кажутся явлениями неземного мира.

Мы медленно сходим по ступеням лестницы, охраняемой четырьмя ужасными богами верхом на кошмарных животных...

На последних ступенях нас охватывает подземный холод; наши голоса звучат чуждо и странно...

Пол пещеры из очень тонкого песка покрыт пометом летучих мышей, распространяющим острый запах мускуса, и следами обезьян, напоминающих следы маленьких человеческих рук...

— Нужно выпить, еще выпить «сам-шу»!

Мы пьем, и этот китайский спирт, который Ли-Лоо рекомендовал на время визита к «богам» и считал прекрасным посредником в беседе с духами, нас незаметно усыпляет.

После дневного зноя, после утомления подъема, растянувшись на песке, мы чувствуем, что как будто погружаемся в воду, что отдыхаем в прохладе; все вокруг постепенно темнеет, мы различаем лишь неопределенную зеленоватую прозрачность; голубые и розовые боги отходят в область воспоминаний, но взгляд их огромных глаз по-прежнему следит за нами, — и по мере того, как мы каменеем все более, вокруг нас возникает какое-то движение, бесшумно идут и уходят не вполне человеческие существа; какие-то силуэты спускаются, скользя по лианам, — то приближаются большие обезьяны!..

И, наконец, сон, тяжелый сон, без сновидений, охватывает нас...

.

Внимание! Эта пагода — отнюдь не буддийская! Лоти ошибся, говоря о Саккиа-Муни. Пагода Мраморной горы, равно, как и все ее сестры, ведет свое начало не от Индии, а от Китая.

Их боги, мрачные, дикие, смущающие ум боги, не что иное, как китайские гении, ужасные гении... ибо Аннам никогда не знал Будду, так же точно, как никогда не знал он и Брамму...

У него была иная вера, пришедшая не с Запада, а с Востока, — вера в гениев, религия предков !

Мистические «лошадь и слон» из гранита или дерева охраняют любой из храмов Аннама. Мне неизвестно значение этого символа. Каждый раз, когда у порога индо-китайского храма вы увидите лошадь или слона, вспомните, что перед вами памятник этой бесконечно древней религии, религии глубоко азиатской, следы которой остались только здесь.

* * *

После высадки в Гюэ и путешествия на Мраморную гору, мы снова садимся на пароход. И вот уже перед нами дельта Тонкина. Мы направляемся в Ханой. Приходится идти через Ган-Понг. Побольше терпения и бодрости! Запаситесь и тем и другим... Потому что в целом мире я не знаю ничего мрачнее подходов к Ган-Понгу. В продолжение, по крайней мере, двух часов мы поднимаемся вверх по Кюа-Кам или по Кюу-Кам-Трие, двум рукавам Красной реки.

И за это время вокруг, насколько хватает глаз, мы не увидим ничего, кроме грязи и болот. Но понемногу, едва окончится этот кусок дельты, едва только окажется пройденным этот путь реки к морю, — болота сменятся рисовыми полями, а буйволы, на которых их обрабатывают, займут место водяных змей.

И тогда на необозримых пространствах зеленеющих полей мы увидим хлебопашцев Индокитая, шествующих, подоб-

но нашим, за своими плугами... Разница лишь в том, что они работают по пояс в воде, так как рисовые поля три четверти года находятся под водой. На этих полях разводят рис в сухое время, и, с позволения сказать, рыб — в мокрое...

Население здесь плотное, которое работает безостановочно, но не спеша. И подумать только, что эти пахари и есть те ужасные завоеватели, те истребители племени «чам», о которых мы только что говорили; непримиримые противники китайского нашествия! Они давно забыли о былых своих военных доблестях и стали мягкими и кроткими в крайнем значении этих слов.

Они ведут патриархальный образ жизни в маленьких деревеньках, где личность ничто и где семья — все. Лучший из современных индо-китайских романистов, Жан Марке, написавший книгу «От рисового поля до горы», постарался о том, чтобы все его герои умерли один за другим к концу рассказа; так что продолжение интриги и романа осуществляется уже их сыновьями, внуками, семьей и общиной. Это чрезвычайно отвечает духу индо-китайцев, духу Аннама.

Ган-Понг очень милый город, и жизнь в нем приятна, за это могу смело ручаться: я здесь достаточно пожил — и годы, о которых я жалею больше всего... Но к чему грустные мысли, напоминающие о возрасте!

Что же касается Ханоя, то это величественная столица, метрополия, со 150.000 жителей, вся в зелени, в садах, богатая, красивая, роскошная. Она славится своим прекрасным садом. В этом саду вы увидите позади красивой беседки огромную клетку, а в ней тигров, которые стоят, чтобы на них поглядеть. Здешние тигры куда больше всех тех, что мы имели случай видеть в Европе. Недаром мы находимся на родине «Господина Тигра» — «Гонг-Коп», как почтительно называют его, когда имеют основание опасаться его близости. Настоящее же имя тигра «Конун». Но так его осмеливаются называть, лишь когда он очень далеко; вблизи же имеет место утонченная вежливость; аннамит осторожен... уж лучше называть тигра, на всякий случай, «его высочеством».

Вполне понятно, что вся страна наводнена рассказами о тиграх, один другого страшнее и ужаснее. Не пересказывая легенд о людях, исчезнувших неизвестно как, или о двух тиграх, повстречавшихся среди бела дня на бульваре или, еще лучше, на улице Катина, я хотел бы дать вам точное, без прикрас и преувеличений, представление о размерах и силе настоящего индо-китайского тигра. Он значительно больше всякого льва, значительно длиннее и выше, а, может быть, и шире; и куда сильнее.

И тем не менее, он труслив; труслив настолько же, насколько храбр лев. Но не в этом дело: трусливый или нет, он зверь все-таки ужасный.

Однажды близ селения, в котором я жил, тигр убил буйвола... (Тигр падает, как молния, на свою жертву и убивает ее на месте, одним ударом могучей лапы... Итак, этот тигр убил буйвола, — а буйвол, — поверьте мне, — не звереныш какой-нибудь! — вскинул его одним взмахом головы себе на спину и пробежал с подобной ношей около двух миль, с невероятной быстротой. Мы шли потом по его следам, глубоким следам, оставленным его когтями в мягкой почве, и убедились, что только пробежав две мили, то есть более трех километров, он выпустил свою добычу и не торопясь принялся пожирать ее...

Другой тигр перемахнул однажды через бамбуковый палисад вышиной около четырех метров в одном небольшом укреплении, бросился на часового, убил, схватил зубами и снова, вместе со своей добычей, перескочил ограду и скрылся.

И этот, такой могучий зверь, несомненно, самый ужасный из всех хищников нашей планеты, как я уже говорил, необычайно труслив и легко обращается в бегство. Туземная поговорка говорит, что человек, увидевший тигра, никогда еще не был съеден. И действительно, тигр нападает исключительно сзади и почти всегда ночью. Он выходит из своего убежища часов в шесть или семь вечера. В это время он очень опасен, и так приблизительно до полуночи. Потом, после полуночи, найдя добычу, наевшись, напившись и поспав, тигр становится безобидным; он возвра-

щается к себе в логово, ложится и отдыхает.

Но есть вещь, которая делает неприятными частые посещения тигра, — я говорю о мгле Аннама, мгле почти непрозрачной. Лондонский туман по сравнению с ней, — светел, как солнце. В индо-китайской саванне не различаешь ничего даже в двух шагах перед собой. Травы удивительно высоки, к тому же. Однажды, близ угольных копей Га-ту, среди бела дня, когда я старался палкой проложить себе дорогу в траве, я неожиданно ударил по чему-то, что вскопало и бросилось из чащи, сделало скачок в три метра и вновь припало к земле с такой быстротой, что я остановился, как вкопанный, и невольно подумал, — не тигра ли это я поднял столь неделикатно! По счастью, то была лань. В противном случае, я вряд ли имел бы удовольствие беседовать с вами в данную минуту.

Состояние, когда кажется, что ничего не видишь, что блуждаешь в густом тумане, а тебя самого отлично видят или, вернее, чуют тысячи грозных противников, — тигры, буйволы, кайманы или змеи, — подвергает ваши нервы значительному испытанию; особенно, когда знаешь, что главный пожиратель людей Гонг-Коп почти всегда тут же, а может быть, и очень близко. Он во множестве водится в окрестностях дельты, в стране рисовых полей, культуры, стране низменной и плоской. Но его еще больше на возвышенности, в горах, среди лесов и кустарников.

Мы говорили недавно о климате Сайгона, таком жарком, тяжелом, утомительном и нездоровом. Климат Тонкина, наоборот, весьма здоровый климат. Я имел случай в этом убедиться, присутствуя на детском балу, балу детей, родившихся в колонии или привезенных из Франции в самом раннем возрасте. Подобный же вечер в Сайгоне оставил самое грустное впечатление, — я видел бледные личики, слабенькие члены, глазки, отмеченные каким-то безразличием к окружающему, столь неестественным в ребенке...

Наоборот, в Ханое передо мной резвились хорошенькие малыши, здоровенькие и бойкие; они весело танцевали и много бегали.

В Тонкине отличная зима, которая позволяет отдохнуть от утомительного лета. Что же касается пресловутых болот и лихорадок, о которых говорят так много, то от них легко уберечься, соблюдая известный режим и тщательно закрывая на ночь «мустикерки»*. Но все это относится только к дельте. А как скоро мы покинем ее и поднимемся в более возвышенные места, о лихорадке, избежать которой можно по желанию, не будет больше и речи... Дело в том, что мы можем уберечь себя лишь от болотной лихорадки. В глубине лесов и в чаще кустарника нас будет подстерегать другое зло, зло большое и малоисследованное, — лесная лихорадка, которая кончается всегда сумасшествием.

Здесь лежат необозримые пространства, едва исследованные, а часто неисследованные вовсе; здесь девственные леса, которым нет границ, листва которых, опадая, постоянно превращается в гумус под горячими ливнями. Этот гумус всегда бродит, разлагается, и от него поднимаются зловредные миазмы.

Когда подумаешь, что в подобных условиях наши летучие отряды должны были бороться долгие годы против пиратов «Иак», пиратов, вредивших больше туземным жителям, чем нам, — то невольно проникаешься глубоким к ним уважением.

Несколько слов о пиратах «Иак».

В свое время могучие завоеватели, аннамиты теперь стали так робки и слабы, что их очень легко запугивать и притеснять. И это практиковалось в отношении их постоянно. Но когда банды разбойников, опустошавших страну на протяжении многих столетий, воззвали к патриотизму и национализму, когда лозунгом они избрали боевой клич — «Французов в море!» (подобно тому, как некогда христианство избрало лозунгом «Долой турок с материка Европы!») — они стали заметно пополняться. Прежняя мощь возвращалась к аннамитам! Еще бы! — французы были завоевателями... Настало смутное, сомнительное время. Многие деревни, платившие подати то французам, то разбойникам, бы-

* Противомоскитная сетка, от *фр.* moustiquaire.

ли сожжены, женщины увезены в плен, стада расхищены, мужчины перебиты.

В местностях, почти непроходимых, нашей пехоте, иностранным легионам и аннамитским стрелкам пришлось совершать без преувеличения подвиги... И, тем более, что эти местности граничат с Китаем, с его необъятными пространствами и многомиллионным населением. На каждой дороге, которая вела туда, находились ворота с рогами, когтями, охраняемые солдатами в красных лохмотьях: врата Китая. Наши солдаты не переступали их порога, но разбойники, куда менее щепетильные, не делали себе из этого вопроса. И каждый раз, когда наши войска теснили их слишком, они перебежали границу с тем, чтобы вскоре вернуться. Эти перебежчики увлекали за собой нередко китайцев. Наряду с шайкой Черного Шатра, сражавшегося с нашими отрядами, вскоре появились шайки Желтого Шатра, проще сказать, — китайские солдаты. Положить конец создававшемуся положению было очень трудно. Поэтому я позволю себе напомнить один случай, рассказ о котором я слышал на месте.

Дело происходило в те времена, когда генерал Галлиени командовал французскими войсками в Индо-Китае. Его соседом по ту сторону китайской границы, в качестве губернатора Кантона, был знаменитый маршал Су, который разгромил нашего генерала Негрису в битве при Ланг. Су — старый китаец, насмешливый и живописный. Я считаю весьма для себя почетным, что некогда был его другом.

Тогда жизнь в маленьких пограничных селениях была, действительно, далеко не веселая; банды инсургентов и линейных китайских солдат то и дело обрушивались, как снег на голову, и учиняли жестокую расправу. Наши отряды являлись на помощь с запозданием, разбойники успевали перейти границу и виновных не оказывалось. Генерал Галлиени пожаловался на это маршалу Су, на что последний ответил, с присущей ему китайской вежливостью:

— Я в отчаянии, но положительно не знаю, что предпринять. В моем распоряжении невозможные войска: никакой дисциплины! Ну, как вы будете им что-либо прика-

зывать? Во всяком случае, если бы вам удалось задержать кого-либо из этих мерзавцев, — не задумывайтесь, прошу вас! Расстреливайте! расстреливайте без суда и следствия.

Говорить было легко. А на деле, задержать никогда не удавалось никого. Генерал Галлиени призадумался... Через некоторое время он отозвал колониальную пехоту с пограничных пунктов и заменил частями из иностранных легионов, куда более суровыми. А еще через некоторое время генерал Галлиени «забыл» выплатить им месячное жалование. И когда легионеры пришли к нему с жалобой, он дал им понять истинное положение вещей:

— Я не могу посылать деньги во все концы границы. Но вы свободно можете заплатить себе сами из средств страны, я подразумеваю страну неприятеля... Да, да: по ту сторону границы!

Ему не пришлось повторять два раза! Несколько дней спустя, три или четыре китайских деревни подверглись такому обхождению, на описании которого предпочитаю не останавливаться... Последовали протесты маршала Су генералу Галлиени:

— И ваши столь дисциплинированные войска могли учинить нечто подобное?!..

— О, нет! — в свою очередь запротестовал генерал Галлиени, — но по некоторым соображениям я должен был изменить дислокацию моих войск; и эти солдаты, солдаты иностранных легионов... К несчастью, у них нет и тени дисциплины; ну как станешь им приказывать? Если кто-нибудь из них попадет в ваши руки, не раздумывайте, прошу вас, и расстреливайте! Расстреливайте без суда и следствия.

Последовало дружеское соглашение, и «мелкие» неприятности на границе прекратились сразу.

У маршала Су осталось об этом случае воспоминание, чисто китайское, если можно так выразиться: он был в восторге от того, что ему удалось найти на Западе хоть одного человека, оказавшегося на одной высоте с ним.

Много лет спустя, находясь на борту французского крейсера «Паскаль», который перевозил маршала Су из Шанхая в Куанг-Шу, я разговорился с ним. Он спросил, знаю ли я

его старого друга, генерала Галлиени, и на мой утвердительный ответ поспешил засыпать меня миллионом любезностей по адресу генерала: «Замечательный человек! — закончил он, — он был достоин родиться китайцем!..»

...Кстати, — Китай здесь рядом, — мы у его ворот... Перед нами вся холмистая граница, порой далеко не обычных очертаний... далеко не всегда естественных... и не всегда современных... Вот, например, почти на том самом месте, где она подходит к морю, лежит необычайная страна, несомненно самая необычайная из всех, какие мне довелось где-либо видеть: я говорю о Фай-Цзы-Лунге. Слово, которое на китайском языке означает «Когти дракона». Иной раз это слово сокращают, принимая часть за целое и говорят: «бухта Алонга»... Ибо бухта Алонга есть бухта Фай-Цзы-Лунга, где находится отличная стоянка для кораблей. Я очень хорошо знаю Фай-Цзы-Лунг: я провел там целых семнадцать месяцев моей жизни!

Представьте себе серое нависшее небо и постоянную изморозь. Море зеленое, гладкое; глубина повсюду одинаковая: неизменно шесть метров. А между небом и водой вздымаются тысяча восемьсот островов... «Вздымаются» — весьма точное выражение, потому что — острова эти не что иное, как скалы, камни, нагроможденные высоко, высоко, и достигающие порой высоты ста метров над поверхностью моря. Море кажется лохматым от всех этих огромных, торчащих скал, черных и столь крутых, что буквально негде к ним пристать, На верхушках виднеется зелень, лианы, видно обезьян, бегающих взад и вперед, диких баранов, свешивающих вниз свои бороды.

На двух-трех островах побольше существуют пастбища; диаметр одного из них достигает семи или восьми километров; это остров Кае-ба... На нем масса тигров, — по ночам они воют, как собаки... Местами сланцы расступаются, образуя подобие ворот над поверхностью моря, куда можно проникнуть в шлюпке; иногда эти ворота ведут в узкий туннель, мрачный и таинственный, который тянется на многие километры; но случается, что, едва переступив порог, вы попадаете в подобие грандиозного цирка, — остров вы-

долблен, как кратер вулкана; ваша лодка плывет по водам, наполняющим этот кратер; внутренние стены поднимаются совершенно отвесно; бесполезно стараться влезть на них... Весь ансамбль представляется гигантской ареной для неведомых морских игр.

Я помню, как однажды, в канун Рождества, я пробрался в один из таких цирков и застал там с полсотни туземных «сампанов». Они справляли праздник с пением, игрой на струнных инструментах и обильной выпивкой. Очень красивые девушки, почти обнаженные, танцевали под аккомпанемент всеобщего веселья... Полная луна смотрела сверху на эту фантастическую картину...

Случается, что такой цирк покрыт тяжелыми сводами и образует грот; грот доисторический, гигантский, перед которым гроты, вроде гротов Монтеспана, кажутся игрушечными... С большим трудом удастся осветить его факелами, и тогда видно, как из недосыгаемой вышины свесились над водой сталактиты... Трудно представить себе что-либо более сверхъестественное.

Фай-Цзы-Лунг не знает ветра, — здесь слишком много островов; море здесь спит неизменно, неподвижное и мертвое. В этой фантастической стране обитает существо, еще более фантастическое, в отношении которого этот эпитет звучит слабо и недостаточно, — Морской Змей... Да, именно тут он живет, и живет вполне реальной жизнью...

Ничто не распространено так во Франции, как насмешки по адресу Морского Змея, но на Фай-Цзы-Лунге над ним не смеются! — И не только потому, что Морской Змей — существо опасное... уж очень велика его «необычность», уж слишком очевидна доисторичность его!

Вообразите только, — последнее из гигантских пресмыкающихся третичного периода, живущее в наше время! Его видели, это небывалое чудище. Многие туземцы встречались с ним, многие европейцы открывали его вновь и вновь. Лично я никогда не видел его, то есть, то, что называется — видеть собственными глазами. Но однажды, когда я был еще мелким служащим, я очень хорошо помню, что меня послали на телеграф от контр-адмирала Белльфона, коман-

дующего китайской дивизией, к Полю Думеру, в то время генерал-губернатору; в телеграмме сообщалось, что с канонерки «Лавина» был усмотрен «Морской Змей» неподалеку от «Острова чудес». Под протоколом насчитывалось более десятка подписей.

Таким образом, оно, несомненно, существует, это чудище, длина которого достигает шестидесяти и более метров! Это змея, что, впрочем, не мешает ей быть по размерам вроде кита.

Когда живешь несколько месяцев на Фай Цзы-Лунге, то начинает казаться, что ты перенесен из нашей эпохи в эпоху за двадцать пять, пятьдесят тысяч лет до появления на земле первого человека.

Вдобавок, это Китай, — удивительные острова, неведомые нравы, а в Китае, куда мы с вами скоро отправимся, вам всегда будет казаться, что вы не на земле больше, что вы переменили планету...

III

В КИТАЕ

Прошло больше месяца с тех пор, как мы покинули Париж и Марсель. У нас было намерение отправиться в Китай, и вот сегодня это намерение осуществится. Через час наш пароход войдет на рейд исключительной красоты и живописности, — на рейд Гонг-Конга. Тот берег, что поднимается из-за горизонта перед нами, — и есть, наконец, китайский берег. Короче сказать, мы по ту сторону земного шара!

Холмы изящных очертаний, высокие и обрывистые; скудная растительность; высокие скалы; а вокруг нашего парохода бесконечное множество парусных судов невиданной формы — «джонок», на которых полощутся четырехугольные паруса из волокон бамбука: таково первое впечатление. Мы подходим все ближе. Появляются лодочки почти той же формы — «сампаны». Вокруг нас целый муравейник. На лодках масса женщин... Под этими широтами ремесло матроса — женское ремесло; женщины, разумеется, желтые, с очень черными и очень прилизанными волосами, в которых сверкают неизменно зеленые камни... Оба берега сближаются понемногу... Мы входим в подобие узкого пролива. К муравейнику джонок и лодок прибавляются большие океанские суда, на этот раз, конечно, европейские, — частью паровые, частью парусные. Их очень много... Мы на одном из наиболее посещаемых на всей земле рейдов. Мне кажется, что Гонг-Конг, даже только как транзитный порт, может похвастаться большим тоннажем, нежели Лондон или Ливерпуль, не говоря уже о Гамбурге...

Мы пристанем здесь с возможным комфортом; большие моторные катера придут за нами, чтобы плавно и быстро доставить на берег.

Примечание в скобках: Гонг-Конг не совсем еще Китай, — мы здесь на острове, являющемся собственностью

английской короны. Но, в конце концов, от Гонг-Конга до Восемнадцати Провинций так близко, что мы несомненно будем иметь случай столкнуться здесь с тысячью чисто китайских вещей и с множеством китайцев.

Это будет первой совершенно необходимой остановкой перед прыжком, большим и смелым прыжком в неизвестное, в то огромное неизвестное, что зовется Китаем.

Каких-нибудь сто лет назад на месте Гонг-Конга был утес, скалистый, голый и пустынный. Теперь Гонг-Конг превратился в лес с прекрасными аллеями, среди которого раскинулся город, насчитывающий 300.000 жителей; в городе этом дворцы, сады, отели и фуникулер, который подымает на вершину высочайшей горы, к замечательной санатории. Гонг-Конг — одно из лучших произведений, какое удавалось создать на земле человеку.

* * *

Пройдемся по Гонг-Конгу. Горы так круты, что город должен был растянуться узкой полосой вдоль берега на четыре или пять лье. Строго говоря, в нем всего одна большая улица, — улица Королевы. Для нас, прибывших из Европы, это, несомненно, самая занятная улица из всех, что довелось нам видеть.

Дома, по большей части, синие (так же, как в Сингапуре,) — довольно высокие; вокруг них галереи и лавки; вывески на лавках, черные с красным и золотом, висят отвесно по китайскому обычаю. Улица Королевы далеко не прямая, — она то и дело поворачивает и делает зигзаги, следуя шаг за шагом за всеми изгибами берега. Так без конца... Можно два часа катить на «рикше» с возможной быстротой по улице Королевы и не заметить ни конца, ни начала. А китайские «рикши» бегут очень быстро; без сомнения, не с такой скоростью, как японские, но зато куда быстрее парижских «такси».

Справа море; слева поднимаются маленькие, узкие улицы. Все кишит желтой толпой, шумной и подвижной, но поразительно дисциплинированной. Англия завела здесь свою полицию. Эта полиция, правда, грубовата и подчас жестока, но зато поддерживает изумительный порядок. Она пополняется, главным образом, здоровенными индусами... Мне вспоминается, как однажды на улице в Гонг-Конге у меня вышло некое препирательство с моим возницей-«рикшей». В коротких словах, суть дела заключалась в том, что я не понимал по-китайски, а кули, в свою очередь, не понимал по-французски; нам никак не удавалось договориться относительно платы. Я обратился, наконец, к полисмену, единственно с целью уладить дело. Но полисмен не стал тратить время на разбирательство, поднял свою палку, оглушил ударом по голове кули и объявил мне, что «все в порядке».

Немудрено, что на улицах Гонг-Конга царит образцовый порядок!

Ничего не может быть легче, как обуздать эту китайскую толпу, которая движется всюду, куда-то спешит, кричит и волнуется.

Гонг-Конг вполне европейский город и даже по-европейски шикарный. Здесь для местных европейцев устроен великолепный ипподром в живописной долине, проложены по горам прекрасные дороги и аллеи для прогулок, а в скалах вырублены лестницы, облицованные фаянсом. Все это довольно непривычно для глаза, но красиво, красиво без всякого преувеличения...

Короче сказать, Гонг-Конг отличное место для остановки, для долгой остановки с целью отдохнуть, набраться сил и привыкнуть к климату, прежде чем атаковать огромный Китай, который виден с вершины Пика... Остров лежит недалеко от континента, а континент этот и есть Китай, самый настоящий.

Кантон рядом, в двух шагах... Но запасемся терпением и подождем еще. Пройдемся сначала по окрестностям...

Кантон — ведь это Париж или около того, — в нем три миллиона жителей!.. Прежде, чем войти в сам город, пос-

мотрим предместье.

* * *

За сто лье от Кантона находится большой остров Гайнан... Главный порт Гайнана Хой-Хао. Первый китайский город, что я увидел, был Хой-Хао; он произвел на меня неотразимое впечатление. Первое, на что я обратил внимание, когда высадился на берег, была мостовая. Она чуть не на метр вышиной покрыта гниющими отбросами.

И по этой гадости приходится ступать, или, вернее, в ней приходится вязнуть. Дома почти сошлись над улицей, и с одной стороны на другую перекинуты бамбуковые жерди. На эти жерди кладут матрасы, циновки, наподобие крыши, чтобы защититься от солнца летом (а зной здесь невыносим) и от дождя зимой (дожди зимой непрерывны). В узких улицах стоит невероятный, непостижимый и доводящий до иступления шум китайской толпы. В Гонг-Конге то были сущие пустыки, а здесь начинается нечто серьезное: кругом вас по всем направлениям бегут люди, бегут и вопят на бегу... Китаец любит крик и кричит без умолку. Почти всегда он тащит на себе какой-нибудь тяжелый груз, но не подумайте, что он замедлит свой бег из-за таких пустыков! Он поддерживает в равновесии на своих плечах бамбуковые жерди футов десять длиной — на обоих концах подвешены колоссальные тюки — и при этом бежит во всю прыть и кричит. Его крики, хриплые и резкие, непереносимы и европейцу режут уши.

На первых порах вы уверены, что никогда к этому не привыкнете, а, тем более, ничего в этих криках не разберете. Заблуждение: научиться китайскому языку не так трудно, и язык этот по-своему прекрасен.

Домики так малы, что трудно представить себе, что в них можно жить. Однако, в них живут и помещаются, притом, целыми толпами... Китайский дом всегда в один этаж, но желтые семьи кишат не только внутри, — они уместились

и вокруг, всюду, где только можно приткнуться! Здесь слились воедино, — крики, солнце, шум, беготня, и над всем, победно торжествуя, китайский запах, тот ужасный запах, о котором я уже говорил однажды.

* * *

Но не пора ли бежать от этой вони?.. Выйдем в поля... Они обработаны прекрасно. И неудивительно, — подумать только, что в Китае, равном по пространству едва половине Европы*, приходится в среднем по сотне жителей на квадратный километр, — а всего четыреста миллионов душ. Понятно, что ни одна пядь земли не пропадает даром. Необозримые пространства рисовых полей, поля «сорго», хлопка, ячменя и чего угодно... Вы встретите здесь поселян, толкающих перед собой классическую китайскую тележку, колеса которой достигают двух метров в диаметре и которая скрипит на всю окрестность.

Мне помнится, как я однажды прогуливался по дорогам Гайнана с одним адмиралом, ныне умершим, — адмиралом Бомоном, — и генерал-губернатором Индо-Китая Полем Думером. В то время, как с нами поравнялась китайская тележка, я стал свидетелем следующего между ними диалога, диалога весьма характерного и показывающего ясно, что такое Китай и какими глазами надлежит смотреть на него.

Недавно прибывший на Восток и незнакомый с ним Поль Думер взглянул на повозку, испускавшую с каждым поворотом колеса вопль, способный разодрать любое сердце, послушал, покачал головой и сказал:

* Здесь имеется в виду не Китайская империя, а Китай в тесном смысле, насчитывающий, по Шреккеру, 380 миллионов жителей при территории в четыре приблизительно миллиона кв. километров (*Прим. авт.*).

— Достоин удивления народ, который за четыре тысячи лет не сумел усовершенствовать свою тележку!

Но генерал Бомон, пожилой человек, знавший все, ответил на это:

— Достоин удивления народ, который изобрел такую тележку за четыре тысячи лет до Паскаля!

В Китае мы неизменно будем встречаться с подобными противоречиями, перед нами всегда будут необычайные, грандиозные, гениальные, превосходящие наше понимание вещи рядом с детски-беспомощными, сохраняющимися то ли в силу странных суеверий, то ли в силу обычаев непонятных, — разумеется, непонятных для нас, пришедших из Европы... Тут, с одной стороны Китай реальный, сильный многочисленностью жителей, их сметливостью, их трудолюбием, а с другой, Китай, сошедший с рисунка на ширмах, Китай вазочек и горшочков, с болванчиками, сидящими на бумажных циновках, подняв оба указательных пальца.

Нужно немало стараться, чтобы понять, как могут оба эти Китая не только уживаться параллельно и в добром соседстве, но и дополнять друг друга в конечном итоге; и что один не более, как тень другого, тень чудовищно-измененная... Но не беспокойтесь! — мы с вами пойдем...

За городом мы снова натолкнемся на китайское кладбище, — бесконечную равнину, по которой рассеяны скромные могилы, маленькие кучки земли, расположенные тесными рядами. Увидим деревню.

Сначала нам покажется, что это лес, — деревни на этой равнине, распаханной вдоль и поперек, всегда огорожены густой зарослью деревьев.

Итак, — это не лес! А вот и домики! Войдем...

Подойти к домику можно по тропинке через рисовое поле, вернее — по плотине, возвышающейся между двумя широкими прудами, где растет рис, купаясь в воде. Войдем через калитку в ограде.

Если до вечера еще далеко, то по всей деревне мы не найдем никого, кроме женщин и детей; мужчины на работе. Мы встретим очень мало страха перед нами, еще мень-

ше любопытства и никакого гостеприимства. Минут через пять вокруг нас соберутся дети, поглядывая на нас глуповато, но без робости и отвращения.

* * *

В южном Китае, который знаком мне более всего и, в частности, в провинции Куанг-Тунг, где я жил, я никогда не видел враждебности со стороны жителей; каждый раз, когда возникало какое-либо недоразумение, я всегда убеждался, что виноват был кто-нибудь, и этот кто-нибудь никогда не оказывался китайцем. Однако, будьте осторожны, далеко не все китайцы одинаково благоразумны, и в Китае столько же бандитов, сколько и в другой стране. Но все же те из них, которых можно назвать профессиональными разбойниками, вызывают в китайцах отвращение...

В Куанг-Шу, когда в 1898 г. Франция заняла полуостров, у нас создались наилучшие отношения с туземным населением. Особенно на маленьком острове Но-Хо, где мы высадили сотню людей при трех офицерах. У ворот миниатюрного форта расположился базар, где торговля шла с утра до вечера.

Внезапно один из солдат сошел с ума и, вырвавшись, убежал. Вероятно, что, убежав, он вел себя неважно и причинил немало зла туземцам; и тем не менее, на пятый день жители привели его к нам, связанного, как колбаса, но без единой царапины, и попросили держать у себя; с последним нельзя было не согласиться, так как он устраивал гадости и его действительно лучше было не выпускать. Сумасшедший плохой товар для экспорта...

В общем, китаец очень мягок. Конечно, существуют, как я уже говорил, китайские разбойники, подобно апашам и другим преступникам Парижа.

Вернемся, однако, к Куанг-Шу-Уану, занятому мной одним из первых. Едва мы прибыли, как какой-то китайский купец уже явился со своими товарами и завязал оживлен-

ный обмен. Китайцы необыкновенные коммерсанты, — поймать его на каком-нибудь промахе нелегко. Я, по крайней мере, пробовал и не мог.

Мой купец из Куанг-Шу торговал консервами, стуженым молоком, сушеным мясом и пряностями. Однажды я вздумал позабавиться и разыграть требовательного покупателя:

— А что, у тебя найдутся струны для виолончели?

Китаец подумал, попросил объяснить, что такое виолончельная струна, и ответил весьма хладнокровно:

— У меня их нет, но во вторник будут.

И во вторник они у него были. Откуда достал он их, покрыто мраком неизвестности...

Другой раз я вздумал попросить его устроить мне площадку для игры в теннис. Он опять-таки потребовал объяснений, особенно налегая на размеры и форму. Расспросив обо всем и узнав, что площадка должна быть гладкая, твердая, столько-то метров длиной и столько-то шириной, он пообещал удовлетворить мое желание через одиннадцать дней. На одиннадцатый день действительно я уже играл на безукоризненной площадке.

Изумленный и восхищенный, я собирался заплатить ему, но китаец отказался.

— Не надо денег, — сказал он, — это подарок. Прими, — я заработал и так на этом деле!

— Каким образом?

— Слушай, — я купил для площадки рисовое поле, скверное поле, и стало быть, дешево. А вместе купил и стадо быков... тощих быков! Тоже дешево. Я пустил быков на рисовое поле; они съели все, весь рис и траву; ожирели и потом утрамбовали почву. Мне оставалось купить несколько мешков гипса; купил недорого... Тогда я продал быков, и продал дорого. За мячиками, сетками и ракетками я послал джонку в Гонг-Конг, — цена известная! Только я купил там еще льда, очень дешево: за два цента! А здесь продал его в госпиталь дорого: за два доллара! Ты видишь: я заработал на деле. Итак, бери теннис, как подарок в знак дружбы; надеюсь, что ты останешься моим постоянным клиентом, так-

же, как и твои друзья! Соглашайся!

Таков китайский торговец.

Тот же торговец в один прекрасный день (это и есть случай, о котором я собирался рассказать), в мирной стране, где мы находились, начал укреплять свой дом и вооружать его ружьями, и все это с большой поспешностью.

— Это против нас? — спросил я его.

— О! Нет! — ответил он.

— Против местных жителей?

— Тоже нет! Но могут прийти дурные люди!

И они пришли. И разгромили всех, кроме него; ибо, предупрежденный своей таинственной полицией, он смог встретить пиратов ружейными залпами. Он был настоящим китайцем и во всех случаях жизни знал, как ему поступать; на свете не было ничего от него тайного, ничего, к чему бы он был равнодушен.

Все трудности, что нам пришлось преодолеть, всякое сопротивление, которое мы встречали в Китае, — всегда были вызваны или фактами преступлений против обычного права, или нашей неумелостью. Но, увы, последнее с нами случается нередко, и не только в Китае!

* * *

Вернемся, однако, к нашей прогулке... Идя все дальше, мы натолкнемся скоро на высокую зубчатую стену, с воротами посередине и бастионами по углам. Это город. В Китае бесконечно много городов.

Все почти одинаковы или весьма схожи: обширный четырехугольник, обнесенный стенами, а внутри людской муравейник в непрестанной, неистовой ажитации. Города с 50.000, 100.000, 250.000 и 300.000 жителей считаются небольшими; города в 450.000 или 500.000 жителей играют роль подпрефектур; и только насчитывающие свыше миллиона начинают считаться чем-то!

Приняв это к сведению, возвратимся в Кантон.

В Кантоне больше чем миллион, даже больше, чем два, чем три миллиона жителей. Само собою разумеется, в нем налицо те же стены четырехугольником, ворота, защищенные бастиянами и поставленные вкось, как и в других городах; и тот же кишаший муравейник внутри стен. Но тут муравейник так велик, что невольно приводит в изумление. Чтобы не быть ошеломленным, нужна длительная подготовка.

В Кантоне нет грандиозных памятников, если не считать знаменитую пятиэтажную башню, не представляющую ничего особенного, и даже некрасивую, но очень популярную среди китайцев. Не будем осматривать башню... Взглянем лучше на неподдающуюся никакому описанию кантонскую толпу. На всем земном шаре нет ничего более подвижного, шумного и стремительного!

Кантон — торговое сердце Китая. Именно здесь сосредоточена вся торговая жизнь южного Китая; а южный Китай значительно богаче, активнее и кипучее, нежели северный.

В Кантоне мы увидим китайское богатство рядом с нищетой, с грязью, с ужасающей нечистоплотностью! И тем не менее, это богатство внушительно, ослепительно.

Вам не мешает знать, что все эти суетящиеся китайцы, в своей активной горячке преследуют только две цели, — жить и пополнять свое образование. Во-первых, каждый день есть, — а это едва ли не самая трудная задача, — потому что они так многочисленны, потому что у каждого орава детей, и нужно очень много риса для стольких маленьких желудков. Приходится работать двенадцать, пятнадцать часов в день, а то и больше.

И китаец умеет работать! Способен выполнять работу сверхъестественную, с изумительным постоянством, терпением, знанием и настойчивостью.

Затем пополнять свое образование... Поев, необходимо заниматься самообразованием, — ибо на общественной лестнице Китая образованный человек стоит немногим ниже миллионера.

Вам, вероятно, известно, что китайский язык моносиллабичен и идеографичен, подобно древнему египетскому. Научиться разбирать эту чудовищную азбуку, в которой от пятидесяти до шестидесяти тысяч знаков, — все равно, что изучить сразу философию, историю и литературу; короче сказать, все, что объединяется у нас одним словом — гуманитарная наука. К этой азбуке, заключающей все его познания, китаец чувствует и уважение, и почтение бесконечные. Привожу пример.

Одному моему знакомому случилось попасть в очень скверное положение во время волнений, направленных против иностранцев, в глубине провинции Куанг-Си. Он был окружен разъяренной толпой, готовой к убийству. По счастью, у моего друга, умевшего писать по-китайски, хватило присутствия духа начертать на листочке из записной книжки знаки, необходимые, чтобы объяснить ближайшему своему соседу, что он мирный ученый и просит проводить его к ближайшему книжному торговцу, где ему нужно что-то купить...

Счастливец! Сосед уже поднимал палку, но, взглянув на бумажку, немедленно опустил ее. Этого было достаточно, — бунтари успокоились, как по мановению волшебного жезла, отвели иностранца, куда он просил, и притом с большим почетом.

Такова одна из характерных особенностей китайского народа!

Китайский народ — народ очень древний. Когда мы говорим о глубокой древности, на языке у нас неизменно слово «Египет». Оно, конечно, вполне понятно; Египет пережил несколько тысячелетий, и я не думаю, чтобы история Китая насчитывала на много больше. Истории обоих народов могут быть углублены до сорока пяти, пятидесяти столетий (до нашей эры), но не более. Но древний Египет мертв вот уже две тысячи лет; его добил окончательно Октавиан Август в царствование Клеопатры! С тех пор он не

живет больше; и египтяне наших дней, которых я очень люблю и среди которых насчитываю немало друзей, совсем не похожи на египтян древности, да и не претендуют на сходство. Поднимается новая раса, у которой больше будущего, чем прошлого.

В Китае, напротив, та же раса и тот же народ продолжает жить со времен баснословной древности.

Да! Во времена легендарного императора Фу-Хи, который правил за четыре тысячи четыреста семьдесят семь лет до нашей эры, или еще раньше, — во времена тринадцати небесных императоров, одиннадцати императоров земных и девяти императоров человеческих, из которых каждый был на троне по девятнадцать тысяч лет, как говорит предание, — всегда был тот же самый Китай, который перед нами сейчас.

Тот же самый Китай и те же китайцы, независимо от того, пришли ли они когда-то из Кашгара или Туркестана, согласно версии официальной, или из верхней Бирмании, как утверждают некоторые ученые, весьма компетентные в этом вопросе...

Древняя история Китая не лишена значительного интереса.

Явившись с севера или юга, китайцы двигались к востоку на протяжении почти двух тысяч лет; и можно считать достоверным, что за XXX приблизительно веков до нашей эры они пришли в нынешнюю провинцию Чен-си. Начиная с этого момента, китайские летописи начинают снабжать нас подлинными документами и самой точной хронологией.

* * *

Императоры-патриархи Я-о и Шу-ен покорили Чан-ен вскоре после завоевания Чен-си, а затем Хо-нан. В те времена императоры избирались. Только в 2205 году император Та-ну положил начало последовательной династии, —

династии Хиа. Она сохраняла власть в течение четырех с половиной веков, в течение которых сменилось восемнадцать императоров. Династия Хиа пала в 1766 году (разумеется, до нашей эры) и ее сменили Чанги (двадцать восемь императоров, шесть с половиной веков). Затем воцарились Че-у. Третья династия; девять веков, тридцать восемь императоров. Это было, приблизительно, в эпоху пунических войн.

Народилась четвертая династия, — Т'синов. Т'сины объединили империю, уничтожили феодальный строй, создали из Китая могущественное военное государство и прославили себя победами. Упомянем бегло имя этого гигантского преобразователя, первого императора Т'синов, — он назывался Т'син Чеу Ноанг ти, что значит слово в слово: Т'син— первый император Т'син, а Чеу— Один, Начало.

Он желал, чтобы его царствование положило начало новой эре. В своих стараниях стереть даже следы того феодального строя, который он разрушил, он зашел так далеко, что когда философы стали высказываться против реформы, опираясь на старые книги и предания, он приказал сжечь все старые книги, уничтожить предания, а философов закопать в землю живыми. Это был весьма энергичный человек, который не отступал перед «небольшой дозой противозаконности»!

После Т'синов прошли, сменяя друг друга, иные менее заметные династии. Одна из них заслуживает того, чтобы на ней остановиться, — то династия Ранг. Ранги царили между VII и IX веками нашей эры, от 618 до 906 года.

История Китая того времени очень напоминает нашу собственную того же периода. Бесчисленные кровавые войны на всех границах государства с целью оттеснить к северу татар, к югу аннамитов и сиамцев, и воинов Тибета к западу. И не думайте, что война была кисейная! но она велась с оттенком рыцарства, даже элегантности, что не мешало, разумеется, творить жестокости и варить людей живыми... а рядом проявлять чудеса героизма и самопожертвования.

Близ Син-Нгана возвышаются многочисленные могилы, которые переносят нас к тем отдаленным временам. Известный синолог Виктор Сегален, изучив бесчисленные эпитафии этих памятников, написал прекрасную и жуткую книгу о китайских или монгольских гробницах.

Я позволю себе процитировать одну из этих эпитафий, которая раскроет перед нами эпоху воинствующего Китая.

На этом месте мы взяли его в плен живым. Он храбро сражался и мы предложили ему служить у нас, но он предпочел служить своему князю даже в смерти,

Мы ему перерубили икры, — он шевелил руками, чтобы выразить свою преданность.

Мы отрубили ему руки, — он кричал о своей верности ему.

Мы рассекли ему рот от уха до уха, — он глазами показал, что остается верным.

Мы не выкололи ему глаз, как предателю; с почтением отсекая ему голову, мы пролили кумыс храбрых и начертали:

«Когда ты родишься вновь, Чен-Хуо-Чанг, окажи нам честь возродиться среди нас!»

Эпитафия, не лишенная благородства...

* * *

Китай этих смутных времен может быть смело поставлен рядом с классическим Китаем великих философов. Но прежде, чем перейти к современной китайской истории, необходимо упомянуть о тех мужах, которые сыграли для Китая роль значительно большую, нежели любой из императоров или патриархов. Без этого нам никогда не уяснить себе вполне формацию души китайца.

Первый из них, сказочный Лао-Тзы, живший, по-видимому, около 600 и 700 года до нашей эры, но о котором

правоверные говорят, что он никогда не был рожден, никогда не умирал, существовал во все времена и перевоплощался бесконечно. Лао-Тзы, несомненно, был отцом и основателем спиритизма. Его метафизика представляется крайне сложной, легендарной и исполненной суеверий; он основывал на ней нечто вроде смешанной религии, религию Гениев, Духов, Внушений... Китай до наших дней еще находится под ее властью...

Сто лет спустя, в 551 году, родился, тем не менее, человек, который должен был затмить Лао-Тзы, не разрушив, однако, его доктрины, — то был Конфуций. Китайцы называют его Кунг-Тзы (Тзы означает господин или философ).

Конфуций или Кунг-Тзы, несомненно, самый знаменитый из всех существовавших когда-либо китайцев.

Родившийся в королевстве Лу, Кунг-Тзы с юных лет рассматривал с почтительным скептицизмом вопросы религии и метафизики. Он объявил всем и каждому, что не желает заниматься небесными делами, хотя в беспредельности своего ума едва мог касаться дел земных. Отказавшись от потусторонних вопросов, он всецело посвятил себя разрешению земных проблем; и изложил в небольшой книге, о которой мы вскоре поговорим, одну из солиднейших философий нравственности.

Третий великий муж был Менций или Мен-Тзы, ученик Конфуция, родившийся через сто пятьдесят лет после него, собравший, разъяснивший и закончивший дело учителя.

* * *

Теперь вам известно то огромное значение, которое имеют эти три коротенькие биографии для правильного постижения китайской души. Лао-Тзы дает нам понять происхождение бесчисленных суеверий, свирепствующих в Китае.

Я выразился «суеверий»... не было ли бы правильное сказать «обычаев»? Обычаев, первопричин возникновения которых мы не замечаем, но которые, несомненно, имели

эти причины?.. Например, всем известны те таинственные предосторожности, что принимает китаец, дабы выбрать надлежащее место для дома, принимая во внимание ветер, дождь, почву. Короче говоря, все, что он называет «фонг-чун», то есть воздух и воду. Вам это кажется нелепым? Пусть! Здесь нельзя построить, «фонг-чун» неблагоприятен. Вы смеетесь? Но почему же? В наши дни гигиена диктует нам тоже свои правила, законы, указы, и даже те из нас, которые ровно ничего не понимают, и уважают, и исполняют их, и находят это для себя удобным. В основе китайских суеверий, несомненно, лежат некоторые неизвестные нам соображения, теперь непонятные, но, весьма вероятно, серьезные и менее чудовищные, нежели нам кажется.

Вполне понятно, что народ, достигший столь глубокой старости, и в своих суевериях дошел до крайнего предела, до карикатуры. По воцарении династии Мингов (а это было в 1368 году) первый из императоров этой династии, не будучи еще хозяином в Пекине, столице предшествующей династии, основал новую столицу в Нанкине. Эта столица, названная южной, была выстроена очень тщательно; ее окружили высокими, правильными стенами и, вдобавок, высокими башнями, построили множество дворцов, еще больше домов; а когда все было кончено, явились прорицатели, с которыми забыли посоветоваться, и объявили:

««Фонг-чун» неблагоприятен!». И город остался незаселенным. А дальше имело место нечто еще более дикое: было замечено, что слово Нанкин, которое пишется в два знака, может быть написано иначе, то есть другими знаками с тем же произношением, но иным смыслом. Изменили орфографию, и что же? Этого оказалось вполне достаточным, чтобы изменить и «фонг-чун»... город сочли возможным заселить. И он был заселен.

А все-таки первые предсказатели, по-видимому, были правы, потому что в наши дни Нанкин находится в состоянии полного упадка и почти необитаем...

Итак, в конечном итоге мы знаем двадцать одну династию, из которых девятнадцать китайских, одну монгольскую и одну манчжурскую. Последняя династия Та-Тзинов, —

«династия наичистейшая», — как известно, рухнула под натиском революции.

Сейчас Китай переживает смутное, переходное время.

Впрочем, он переживал похожие времена раз пятнадцать, если не более, на протяжении шестнадцати последних веков; почти при каждой смене династии, а то и независимо от этого!

Китай знает все — и анархию, и ужасающий голод, и обнищание, и упадок. И, неизменно, спасение являлось рано или поздно! И снова порядок и мир восстанавливались в Небесной империи.

Тогда, — как говорит китайская пословица, — «сабли покрывались ржавчиной, а телеги сверкали новизной», что равносильно пределу благополучия и апогею цивилизации в Срединной империи. И, конечно, китайцы правы, полагая свой идеал в мире...

* * *

Я поставил себе целью дать почувствовать грандиозность Китая, старейшего среди государств, и показать отдаленнейшие пределы, что открывает нам история его прошлого. Пять тысяч лет пронеслось над ним, а народ Китая все еще живет, и бродит, и кипит по-прежнему!

Но до сих пор мы имели случай познакомиться лишь с частью, с небольшой частью Китайской империи, с южным Китаем. Когда я говорю Китай, то подразумеваю не всю империю, заключающую, помимо Китая, еще Монголию, Манчжурию, Туркестан и Тибет! Отнюдь нет, а только Китай, Китай, как таковой. Восемнадцать провинций с 380 миллионами жителей. Он расположен в двух низменных и не слишком больших долинах по течением рек Гоанго (Желтой реки) и Ян-Це (Голубой реки). До сих пор мы находились к югу от Голубой реки. Китаец с севера посмотрел бы на нас с презрением! В его глазах этот южный Китай — не Китай вовсе; китайская колония, не больше! А может быть, он и

прав; ведь колыбель китайской расы, провинция Чен-си, лежит на крайнем севере, очень далеко даже от Голубой реки, и вплоть до царствования императора Т'сина, то есть, приблизительно, времен Ганнибала у нас, земли, лежавшие к югу от Голубой реки, служили им лишь местом для охоты.

Сейчас положение вещей, правда, изменилось. Самая обширная провинция Китая Сы-Чуан, насчитывающая восемьдесят миллионов жителей и в которой расположено немало городов, рядом с которыми Лион, Марсель или Бордо показались бы просто деревушками, находится в южном Китае.

Но исторический Китай, — Китай северный, кстати, более густо населенный, хотя менее богатый, нежели южный. И, если мы хотим увидеть то, что должно интересовать нас, европейцев, более всего, то есть Китай императорский и великолепный, Китай роскоши, «Дворцовый Китай», как выражаются синологи, — то мы должны отправиться именно на север.

* * *

Мы были в Кантоне или Гонг-Конге. Отправимся же на пароходе; через четыре дня мы прибудем в Шанхай; это совсем близко от Нанкина, столицы, рассчитанной когда-то на три или четыре миллиона жителей и насчитывающей сейчас едва пятьдесят тысяч.

Город брошенный, забытый город,..

Шанхай (расположенный не непосредственно у устья реки, а у входа в ее долину), напротив, живой, даже исключительно оживленный город. Он не только главный порт Центрального Китая по ввозу и вывозу (так как Гонг-Конг, о котором говорилось выше, порт исключительно для транзита), но в то же время и столица удовольствий, празднеств и роскоши для всех китайцев, — Монте-Карло, Биарриц и Довиль, вместе!

Действительно, подумайте только, — здесь сосредоточено столько богатств! Шанхай — город, в котором каждый стремится показать свою власть и свое богатство! Шанхай отнюдь не английский город, подобно Гонг-Конгу, но абсолютно космополитический, наполовину китайский, наполовину европейский... Потому что европейцы владеют в Шанхае двумя концессиями по берегам реки, — одна из них французская, а другая интернациональная.

Как видите, у нас, у французов, в Шанхае привилегированное положение; этим положением мы обязаны нашим коммерсантам, «шелковым» лионцам, основавшим здесь с незапамятных времен; их много и они богаты.

(...Общее правило: если вы встретите двух французов за пределами Франции, то один из них непременно окажется лионцем. Лион самый предприимчивый и дерзающий из всех французских городов...)

Итак, французы Шанхая, по большей части, богатые и влиятельные купцы, торгующие шелком. Англичане Шанхая тоже купцы и тоже богаты; они торгуют чем угодно. А китайцы Шанхая богаче французов и англичан, вместе взятых, вдвое. Понятно, что Шанхай должен быть городом большим, шумным и блестящим.

Улица «Фу-Чжеу» в Шанхае, длиной более километра, представляет сплошное место для развлечений; музыка гремит здесь, не умолкая ни днем, ни ночью.

* * *

Подобно Гонг-Конгу, Шанхай гордится своим ипподромом, куда более элегантным. Подвизающиеся, и при том всегда победоносно, на нем казаки нередко носят китайские цвета.

Очень любопытно пройтись в Шанхае за город по тенистой дороге, которая носит название «Журчащий ручей». Это самое элегантное место прогулок. Теперь здесь сплошь роскошные автомобили. Но еще не так давно, в мое время,

китайцы с важностью восседали в экипажах довольно странного вида, — английских каретах безукоризненной работы, но со стеклянным верхом. Это казалось им пределом роскоши.

Там и сям по сторонам этой дороги возвышаются павильоны, вроде нашего Арменонвиля или Пре-Кателяна. Зайдите туда выпить чаю. Помимо того, что вас угостят питьем совершенно неизвестным в Европе и при том довольно вкусным, вы встретите пять или шесть сотен китайцев лучших фамилий, в сопровождении жен или приятельниц, бесконечно элегантных, которые покажутся вам весьма грациозными, скромными и хорошего тона.

Костюмы элегантных китайцев даже в 1924 году далеко не так смешны, как наши (я имею в виду наши мужские костюмы), — трудно представить себе что-либо живописнее этого ансамбля, отливающего всеми цветами радуги. Дамы носят подобие длинных панталон из сатина или желтого брокара, ломающегося резкими складками, а сверху китайскую вышитую тунику свежих и очаровательных тонов розового, *mauve* и *gris perle**.

Мужчины одеты почти так же, только вместо панталон юбка. В то время, о котором идет речь, они носили длинные косы. Это было довольно забавно!

Вся эта толпа с самыми изысканными жестами подбирает с блюдец орешки, изюм, жареный миндаль, конфетки с перцем, имбирем и еще черт знает с чем! Женщины показывают пресловутую китайскую ножку, нечто крайне уродливое и жалкое, огрызок ноги, — мода, распространенная почти во всем Китае, а главным образом, в долине Ян-Це, но, по счастью, не проникшая в народ. Крестьянки Куанг-Тунга, например, и лодочницы, катавшие нас по каналам и даже по морю в Куанг-Шу, выставляли, наоборот, совершенно нормальную ногу и даже очень пропорциональную.

* Сиреневого и жемчужно-серого (*фр.*).

Было бы жалко их исковеркать. К счастью, эта нелепая мода начинает понемногу исчезать. Манчжурские завоеватели не хотели никогда принять ее.

* * *

Таков Шанхай, метрополия экспорта и импорта, раскинувшаяся при устье гигантского Янцзе-Кианга. Шанхай — это Китай современности, Китай больших дворцов, «кули», работающий Китай.

А рядом, почти у ворот Шанхая, пустынный Нанкин. Здесь мы увидим Китай древности. Я не стану говорить о городе, — о нем уже все сказано; но на расстоянии нескольких лье от него находится могила первого императора Мингов (конец нашего XIV века), повелевшего построить Нанкин. Экскурсия к ней весьма поучительна.

Еще издали мы заметим довольно высокий холм, разумеется, искусственный; все императоры Китая, приготовляя себе могилу, начинали неизменно с возведения искусственного холма.

Перед холмом подобие небольшого храма, крыша которого исчезла, скрывает гигантскую каменную черепашу; на спине черепахи колонна... Эта колонна — надгробный памятник властителя, за которым находится царственная могила.

Вперед. Слева от нас в отдалении вырезались два колоссальных каменных силуэта, два лежащих льва, между которыми намечается узкий проход. Приблизимся... Пройдем между львами; за ними поднимаются еще два льва, на этот раз стоя; дальше два лежащих верблюда, два верблюда во весь рост, и еще и еще звери, слоны, единороги, носороги... Мы двигаемся как бы по триумфальной аллее, между двух рядов громадных каменных животных, которые выстроились по два в ряд и смотрят друг на друга.

Аллея идет зигзагами, как я уже говорил; было бы действительно ужасно, если бы она была прямая, так как злые

духи летят всегда прямо и могли бы тогда найти дорогу к могиле!.. Но не бойтесь, — злым духам не так-то легко попасть сюда! Триумфальная дорога идет вокруг горы. Она открывается нам понемногу.

Когда каменные животные останутся позади, мы увидим сначала пару колонн, а затем две пары высоких, в рост человека, статуй, которых называют мандаринами военными и мандаринами гражданскими.

(Я положительно в ужасе от слова «мандарин», — оно ровно ничего не значит по-китайски, но взято с португальского и происходит от глагола mandar, — повелевать! Скажем же лучше — четыре китайских сановника, из которых двое несут кольчугу и оружие, а двое других эмблемы гражданственности).

В конце концов показывается нечто вроде круглого дворца. Здесь в глубине подземелья лежит основатель династии, именуемой «славной» — Минг... Его наследники положены в таких же точно склепах, но только далеко, в окрестностях Пекина...

Нам тоже пора добраться до Пекина. Иначе наше путешествие осталось бы незаконченным.

* * *

Пекин не слишком старый город; он был построен во времена Марко Поло, при императорах первой чужеземной династии в Китае, монгольской династии Ю-ан, начало которой восходит к 1280 году. Император, основавший Пекин, заложил такой гигантский четырехугольник, что не успел закончить его при жизни.

В неприкосновенности, в первоначально-задуманном виде, сохранилась лишь южная часть города. Пекин состоит из двух смежных четырехугольников; один повернут на запад, а другой перпендикулярен к нему. В южной части расположен китайский город, в северной татарский.

Чтобы добраться до Пекина, отплывем из Печилийского залива. Берега низки и мрачны; отмели; море желтое и беспокойное...

Вот устье Пей-хо, по которой мы поднимемся вверх. Скоро покажется Тянь-Тзин, речной порт Пекина, город, насчитывающий до миллиона жителей. Здесь тоже шумно, но это уже не тот шум, что на юге. О! Конечно, здесь еще густо населено, шумно и беспокойно, но эти люди с севера сохраняют известное достоинство, осанку, почти сдержанность, совершенно чуждую племенам юга.

Вверх от Тянь-Тзина Пей-хо не более, как узкая речонка. Дальше приходится ехать по сухому пути. Итак, едем!

По дороге нам, конечно, встретятся пресловутые повозки северного Китая, то есть одно колесо, над которым утверждена платформа; на платформе мотаются пассажиры, стараясь удержаться в равновесии; повозку толкает человек-лошадь; но толкать трудно и человек поднимает на палке парус, пользуясь попутным ветром.

Нам попадутся навстречу и монгольские верблюды с длинной шерстью, мощные и волосатые, как львы... Они пройдут большими неслышными шагами, чтобы исчезнуть в густой, серой пыли, которая плывет над пекинской равниной...

Итак, незаметно мы приблизимся к Пекину, — даже не подозревая этого... Пекина издали не видно; его замечаешь, только когда натолкнешься на него. Внезапно, при выходе из этой пыльной и серой равнины, перед нами возникнет стена, огромная, невероятная, вавилонская, бесспорно самая большая из всех, в настоящее время существующих на свете; знаменитые стены Стамбула рядом с пекинскими стенами не более, как детская игрушка.

Лоти, увидев в первый раз Пекин, испытал такое чувство, точно он видит перед собой готический собор, но этот готический собор, говорит он, — «тянется вправо и влево, теряясь в бесконечности».

Стена эта, цвета железа и пепла, защищена громадными четырехугольными башнями. Войти в нее можно через Китайские ворота, то есть через ворота с нависшими один

над другим этажами; этажей три и каждый заканчивается крышей с загнутыми вверх краями, крытой черепицей. Загнутые углы являются символом той палатки, в которой пять тысяч лет тому назад веками жил кочующий китаец, прежде чем окончательно покорил свою империю.

Мы входим. Пройдя темную стену, очутимся в городе, зеленом от листвы ив, зеленеющих всюду, и желтом от черепиц доминирующих кровель. В узких улицах толпа бежит и волнуется, как повсюду в Китае. И если это не лихорадочное оживление юга, то, во всяком случае, оживление и при том крайне живописное.

Во времена последних императоров Пекин был полон блестящих процессий и сверкающих мундиров. Дама из общества не выезжала иначе, как имея двадцать всадников позади; подобные кавалькады сообщали городу весьма странный вид, но, позволю себе добавить, и очень украшали его.

Мы все еще находимся в Китайском городе. Но двинемся к северу... Вот пересечение двух прямоугольников, и из китайского города мы переходим в татарский. Еще одна огромная стена... Мы вступили в город, предназначенный единоплеменникам победителями-манчжурами из династии Та-Цзин (Самая чистая), в те времена еще, когда они стали у власти в 1643 году, приблизительно в царствование Людовика XIV.

Первый из Та-Цзинов носил имя Канг-Хи. После фарфора Мингов, подлинники которого становятся теперь все более и более редкими, фарфор Канг-Хи занимает второе место. Образцы его прекрасны, а многими любителями считаются еще выше, чем фарфоры Мингов.

Итак, мы миновали серую стену, которая еще выше, чем первая, и подобно ей снабжена зубцами, и теперь прогуливаемся в татарском или, если хотите, манчжурском городе. Он очень напоминает китайский, — те же дома, те же черепицы, те же улицы, или, вернее, «улучки», правда, менее узкие, но, как и те, неизменно пересекающиеся под прямым углом.

Город не только живописен, как я уже говорил, благодаря краскам, пышности, блеску, но интересен также своими нравами и всем укладом жизни. На юге мы видели, как бешено кипит торговая жизнь, как суетятся толпы торговцев и кули; но все это неслось мимо нас с такой бешеной быстротой, что едва можно было что-либо рассмотреть. На севере мы можем делать наши наблюдения спокойно. Мы не спеша осмотрим все особенности маленьких улиц Пекина, — *hou't'ong*, как их здесь называют; мы увидим торговца съестными припасами (очень странными съестными припасами)... мы увидим бесчисленных слепых, которые образуют целое братство, которыми никто никогда не занимается, у которых нет даже собаки-поводыря...

Мы увидим нищее братство «рикшей»... короче сказать, мы увидим китайскую действительность во весь ее рост, без покрывал и прикрас.

* * *

Китайский храм (как говорил мне один русский путешественник, большой патриот, теперь находящийся на службе французского правительства), — китайский храм это, без преувеличения, самое совершенное из всего, что он встречал на земле; это еще совершеннее Акрополя, потому что пропорции еще строже.

Он был прав. Китайский храм является самым совершенным выражением всех законов прекрасного... Но... судите сами...

Храм состоит из ряда террас белого мрамора, соединенных между собой широкими лестницами того же мрамора. В средней части каждой лестницы устроена дорожка, где ступени заменены гладкой наклонной поверхностью, спускающейся отлого; на мраморе ее во всю длину инкрустирован перламутровый дракон, — это «Дорожка Императора». По этой дорожке в дни торжественных служений мог подниматься, направляясь в храм, только один Сын

Неба, в то время как его свита шествовала по ступеням, предназначенным для простых смертных, по правую и по левую руку от него.

На вершине всего этого стройного нагромождения террас, нагромождения пирамидообразного, — целиком из белого, неизменно белого мрамора, — возвышается ротонда или куб: это святилище.

Храм Неба круглый и крыт голубой черепицей*; Храм Земледелия квадратный и крыт зеленой черепицей... Символику этого понять нетрудно, — небо с одной стороны, нивы или поля с другой...

Но не все ли равно? Дело не в этом, — пропорции, одни лишь пропорции, и непогрешимость рисунка. Все это совершенно и закончено, в самом высоком смысле этого выражения.

Но нам осталось взглянуть на вещи еще более прекрасные. Татарский город заключает в своих недрах то, что совершенно ошибочно называют Желтым городом. Ошибка грубая, потому что благодаря случайному совпадению получается каламбур, построенный на произношении слова. «Желтый» по-китайски «ноанд», а «ноанд», написанное иначе, но одинаковое по произношению, значит «священный, царственный, высший». Таким образом, дело идет не о «Желтом», но о «Царственном городе». Те, кто ввели в обиход эту ошибку, или не знали языка, или хотели позабавиться....

* * *

* На самом деле Храм Неба состоит из трех голых плоскостей, над которыми возвышается алтарь; но среди пределов этого храма есть Храм Предков, в котором хранятся императорские погребальные таблички. Этот-то храм и имеет форму ротонды и крыт голубой черепицей (*Прим. авт.*).

Этот «Царственный город» опоясан третьей стеной, выкрашенной в темно-красный, почти фиолетовый цвет, — это святое святых: Запретный город, или Лиловый город.

Едва вы переступите первую стену, как будете удивлены до крайности — домов нет! Внутри Красной стены заключен только лес, — лес кедров, кипарисов, туй и ив... По всему лесу рассеяны там и сям необычайные искусственные уголки... Довольно высокая горка, которую называют «Угольной горой» (тоже недоразумение) и очень большое озеро с затейливыми берегами; через это озеро, знаменитое Озеро лотосов, перекинут мост из белого мрамора, изогнутый причудливо, но гармонично и красиво.

Озеро, горка, берега и лес — все это создано руками человека... Мы прогуливаемся одиноко в гигантском саду, в роскошном меланхолическом парке, который создали для себя китайские императоры шесть столетий тому назад, подобно тому, как Людовик XIV создал Версаль за двести тридцать лет до нашего времени. Мы прогуливаемся здесь, как в Версале... потому что китайские императоры, как и Людовик XIV, не запрещают больше подобных прогулок. Но, как и в Версале, будем хранить должное уважение к месту... В чаще кустарников прячутся миниатюрные храмы, киоски, маленькие дворцы... Идем все дальше, пока внезапно не вырастет перед нами четвертая и последняя стена, пурпурная или лиловая стена. Было время, когда сюда не проникал никто... Но мы войдем, так как последний из Гоанг-Ти, Сын Неба, сошел со своего трона. Здесь жили властители Китая. Здесь в 1900 году во время боксерского восстания жил некоторое время Лоти и оставил нам в «Последних днях Пекина» необычайное описание этого Лилового города.

Но впереди нас ждут еще более чудесные вещи, чем этот дворец, который в конечном итоге пережил только три династии, — три, а их было двадцать одна. В Китае вообще нет очень древних дворцов, — ибо китаец никогда не любил строить вечного и всегда пользовался хрупкими материалами: казалось, — он не хотел передавать грядущим по-

колениям свой дух, свои познания и мечты иначе, как в письме.

«Это, — сказал Гюго (он подразумевал книгу), — убьет то!» (он говорил о строительстве). За пятьдесят веков до Гюго китайцы уже разделяли его мнение.

Во всем Пекине, за исключением одной башни, которую называют Башней колокола и которая восходит, по видимому, ко временам династии Ю-ан, то есть приблизительно ко временам Марко Поло, остальные древности относятся к последней или предпоследней династии, что соответствует в нашей истории временам Людовика XIV или Генриха IV. Все это относительно ново, как вы видите!

Однако и китайцы тоже желали передать кое-что в вечность, подобно древним египтянам, — свои могилы; и, в частности, могилы своих императоров.

Не так давно мы осматривали с вами последнее жилище основателя династии Мингов. Ему каких-нибудь пятьсот лет, не более; тоже не слишком глубокая древность! Но двинемся в глубь Китая, туда, где затерялась древняя столица Син-наан... Неподалеку от этой столицы мы найдем могилу великого китайского императора, современника Ганнибала, императора «Первого», императора, присвоившего себе титул «Начало», — Тзин-Чеу Хоанг-Ти, того самого, который уничтожил феодальный строй и сжег старые книги.

Недавно эту могилу, насчитывающую двадцать два века, посещала французская миссия. Вот описание ее, что дал в своей прекрасной книге Виктор Сегален*.

Три холма... Три холма, поднимающихся единой массой, гордо рисуясь на бледном небе; а справа и слева пологий спуск, теряющийся за горизонтом.

Несмотря на циклопическое основание, это не игра природы, а памятник восьмисот тысяч человеческих дней, возд-

* Victor Segalen — «Peintures» (Прим. авт.).

вигнутый во славу Единого Короля Т'зин, императора Первого.

И тут искусственные насыпи...

* * *

...Да! Если вы придете еще через десять тысяч лет, то увидите, что ничто не изменилось в этой живописи; разве только рыжий тон, который позолотит кисть времени, но не более...

Нужно проникнуть в могилу...

...Оставим земную поверхность; вот мы уже по ту сторону ее, но не во мраке, — мы следуем по пути души к сердцу памятника. Длинный коридор со сводами, освещенный только на противоположном конце, в пятистах шагах, желтыми огнями: отблески их легли позолотой на стенах, вырвали из мрака бесчисленные сцены, вылепленные по бокам; все облицовано старым, как мир, кирпичом. Потрогайте его. Неужели вы не чувствуете, как родственен кирпич земле и, несмотря на свою декоративность, насколько он интимнее камня в обстановке могилы?

Они тянутся, теряясь из вида, эти тысячи маленьких фигурок, величиной с ладонь, твердо намеченные полурельефом. Одни возле других тесными рядами, не заслоняя друг друга, они громоздятся в три этажа.

Величиной с ладонь! А когда-то каждый их жест потрясал империю и отдавался далеко за пределами! Здесь присутствует только Он один. Его высокие дела заполнили все пространство. Смотрите! — Вот чудесное рождение, вот победы, вот триумф Т'зина... Здесь из государства было вылеплено одно целое, здесь целые государства стерты в порошок и замешаны в одно тесто! Каждая сцена проста и отчетлива.

Здесь молодой король, едва достигнув совершеннолетия, объявляет, что каждый, противящийся его постановлениям,

будет сначала обезглавлен, затем сварен, а затем его выслушают... быть может.

Здесь уже кипит котел, плаха приготовлена и ждет головы. Но молодой король первым подает руку послушнику, поднимает его и делает своим советником.

Здесь мы видим, как он бичом хлещет по камням, из которых течет кровь, и приказывает окрасить в кроваво-красный цвет скалу, которая не хочет покраснеть.

Здесь из уважения к своей почитаемой, хотя недостойной матери, он убивает в Ган-Тан'е всех лиц преклонного возраста, бывших свидетелями его рождения и хранивших о том воспоминания...

Здесь, наконец, он решает стереть за собой все прошлое. Он делает костер из всех старых книг и закапывает живыми их толкователей. Он отрекается от всех предшественников, достойных и недостойных.

И он объявляет себя «Началом», императором «Первым».

„Владелец всех пространств, известных под небом, истовый господин живущих, он желает быть господином самой смерти; он объявляет, что в печах его варится золото, годное для питья, Вино Радости, дающее бессмертие.

Чтобы получить рецепт этого снадобья, он посылает в моря бесчисленные корабли с сотнями тысяч мореходов.

Но он сгорает от нетерпения, лекарства приходится ждать и ждать, и ему изготавливают панацею, еще более действенную, составленную из киновари и сулемы, — которая очищает тело еще при жизни, делает его вездесущим, дает жизнь в Духе, бытие.

Он отваживается принять чашу... Он пьет... ...И вот перед нами гробница...

Мы вошли в подземелье, освещенное желтыми лампами, оставив позади коридор, в котором слишком много изображений... Это прекрасных пропорций куб с бронзовым полом, отлитым одной плитой.

...Но вы уже не слушаете больше; вы склоняетесь над величественным саркофагом... Вы хотите видеть, что в нем?

Да, загляните в него, саркофаг пуст...

Найдутся люди, которые расскажут вам, что пять лет спустя после его смерти и погребения, великая могила была разграблена восставшими ордами, труп изрублен на куски, а драгоценности разграблены... и что мы не первые проникаем сюда... Слова! Могила пуста, это правда, — но ведь Китай полон Им, управляется его законом, объединен Его единой волей.

А что касается его самого, то он не здесь или там, — он не пожелал долго пребывать в гробнице, вот и все!

Поэт солгал. Он никогда не знал «печали побелевших костей». И, кто знает, может быть, панацея была хороша, и Он не умирал вовсе.

Так велик был он при жизни, что одно имя Его «Чеу-Хуанг-Ти» потрясает землю и заставляет ее расступиться... Назад! Назад! — скорее из гробницы...»

Да! Таков этот вечный Китай, господин столь необычайной истории, таких преданий, преданий, чтимых всем многомиллионным народом... И от этой истории, этих преданий, тысячелетний и чудесный, он оттолкнется, как от трамплина, навстречу новому великому и светлому будущему!

* * *

Чтобы закончить, несколько слов об этом будущем.

Мы уже говорили о том, что я назвал «Китаем ширм». Это не более, как нечто кажущееся, как нечто представляющееся нашим глазам столь отличным, столь иначе воспринимающим мир...

Китай так стар, и так стары его суеверия! Корни их нам неизвестны, происхождение темно. Мы не понимаем и потому смеемся. Но кто знает, — не находит ли китаец, в свою очередь, нас и странными, и смешными? Итак, не лучше ли оставить «ширменное» представление о Китае!.. будем держаться в границах реального.

Народ Китая далеко не находится в состоянии упадка и вырождения — население Китая возрастает, а не уменьшается, способность китайца к труду не ослабевает, его жажда «знать» все возрастает, его выносливость и силы не знают усталости. А потому пусть кажущаяся разруха, в которую погружен Китай больше пятнадцати лет, не производит на нас ложного впечатления! На протяжении своей пятидесятивековой истории, Китай переживал худшие бедствия, сильнейшие грозы многое множество раз.

Китай не может погибнуть так легко. Ничто, даже анархия, не страшна ему, так как китаец труженик и не перестанет трудиться.

Шайки вооруженных хозяйничают в стране, горит кровавая борьба партий, но трудовая масса продолжает работать, как работала века, и ждет момента, чтобы сказать свое слово! В Китае такой запас сил, которого не найти нигде в мире!

Что же можем мы ждать от нации столь трудолюбивой, сильной, стойкой, добросовестной, от нации, политическая активность которой проявляется в жизни невероятного количества тайных и иных обществ, от нации столь жизненной, что она никогда не перестает кипеть?

Очевидно, всего! И я жду от Китая великих и сказочных дел, я пророчу ему великое и светлое будущее.

В наше время, когда мы на Западе столь по-детски занимаемся болтовней и конференциями, питаемся нашей ненавистью и готовы грызться из-за всего, нетрудно предположить, что будет день, и народ более многочисленный, более трудовой и более мудрый, несмотря на обманчивую внешность, внезапно станет с нами рядом, а может быть, и перерастет нас!

И, если пришествие этого народа обещает мир, основанный на всеобщем труде и справедливости, то, что касается меня, я не стану жалеть, если этим народом будут китайцы.

IV

КИТАЙЦЫ В ИХ СОБСТВЕННОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

Я расскажу вам теперь о Китае, каким он был за три или четыре тысячи лет. Можно было бы с полным правом назвать его новым, если не современным: мы знаем Китай неизмеримо большей древности!.. Кроме того, Китай страна, которая почти не меняется.

Редьярд Киплинг сказал: — «За спиной Китая столько тысячелетий и худо или хорошо, но он столько флиртовал, что было бы легкомыслием надеяться, что когда-нибудь он приобретет иные привычки».

Мне бы очень хотелось показать «Центральную нацию» такую, каковой она была всегда и какою осталась и теперь... Попробую заставить господ китайцев нарисовать свой собственный портрет.

Достаточно будет нескольких книг, при условии тщательного подбора и подлинно китайского происхождения... О!.. Конечно, это будут древние книги.

Мне представляется затруднительным вообще говорить здраво и справедливо о вещах малоисследованных; нетрудно догадаться, насколько это сложная и трудная задача, когда дело идет о народе, мозг которого, как говорит шутя Лоти, по-видимому, работает в обратную сторону по сравнению с нашим.

Было бы тщетным и рискованным предприятием пытаться изучить в кратком обзоре современную китайскую литературу. Поэтому я предпочитаю обратиться к отдаленным временам и говорить почти исключительно о самых древних китайских текстах, какие находятся в нашем распоряжении. Я полагаю, что таким образом мне удастся ярче и полнее показать, как сформировался настоящий Китай и каковы настоящие китайцы...

Я подчеркиваю слово «настоящий», то есть не Китай ширм, опереток и водевилей, но другой, — подлинный, серьезный, государство с 400 миллионами жителей, работающими больше, чем мы, лучше, чем мы, с большей настойчивостью и напряжением... Короче, Китай, один в мире, насчитывающий шесть тысяч лет достоверной истории! И несмотря на свою старость, не обессилевший нисколько, живущий жизнью более кипучей, более живой и активной, чем любая другая нация, будь она старая или молодая.

Но раньше, чем погрузиться в китайскую литературу, менее всего желая быть педантом, я все же принужден коснуться, хотя бы поверхностно, китайской грамматики и филологии. Да-с! Этот язык совершенно отличен от всех наших европейских, американских, африканских и даже азиатских! Действительно, у нас — у «варваров»! — каждое слово произносится с помощью нескольких следующих друг за другом звуков, называемых слогами; слоги состоят из букв и т. д.

У китайцев же, как когда-то у египтян, нет ни азбуки, ни гласных, ни согласных, ни слогов; каждое китайское слово, подобно египетским, пишется или, вернее, рисуется с помощью одного знака, одного иероглифа, если вы предпочитаете. Когда слово начертано, его произносят с помощью односложного созвучия.

Обратите внимание! Здесь имеет место нечто диаметрально противоположное нашему представлению о языке, то есть образованию понятий и их передаче словами. Китаец идет от начертания к мысли, и произношение для него не более, как аксессуар. Мы исходим из произнесенного слова, и наше письмо не имеет иного значения, кроме обозначения произнесенных звуков. Когда мы пишем, мы изображаем звуки нашего голоса, даем смутное изображение наших чувств. А когда пишет китаец, то он срисовывает свою мысль прямо с натуры. Он наносит, — не пером, а кисточкой, — рисунок, долженствующий изобразить, разумеется систематически и стилизованно, то, что он желает выразить.

Этот рисунок и есть то, что китайцы называют буквой и что египтяне называли иероглифом. Иначе сказать, всякая

человеческая мысль представлена одним знаком.

Само собою разумеется, что собрание этих знаков или букв неизмеримо обширнее наших «a, b, c, d». Вместо двадцати шести букв считайте двадцать шесть тысяч, и то вы будете правы лишь в одной третьей части!

Не следует, однако, думать, что изучение китайских начертаний просто мнемотехническая символика. Нет! Существуют знаки основные и знаки производные.

Подобно тому, как мы добавляем суффиксы и флексии к корням наших существительных и глаголов, китаец комбинирует по-разному основные знаки, а их не более двухсот пятидесяти. Из основных знаков, путем упрощения и связывания, он образует знаки производные; и так, идя от элементов к сложному, он от основной идеи идет к идеям производным...

* * *

Несколько примеров, чтобы быть лучше понятым.

Чтобы изобразить человека, нужно провести две черты, идущие вкось, суживающиеся кверху; две ноги идущего человека. Этот знак произносится «женн» (сравните с арабским словом «джинн», взятым тоже с японского или индийского)...

Но, — повторяю, — произношение ни к чему не обязывает.

Чтобы изобразить юношу, — чертят одну черту, прихотливо прихотливо изогнутую, с небольшой пересекающей горизонтальной черточкой; это будет стилизованное изображение ученика, согнувшегося над рабочим столом, — человека, который учится. Две наискось поставленные и пересекающиеся черты будут изображать женщину. А если нам понадобится изобразить слово «любовь» (гаô), мы поместим рядом знак, обозначающий женщину, и знак юноши, — независимо оттого, идет ли дело о любви супружеской или о любви материнской... Чтобы написать «слово» или

«речь», мы грубо изобразим рот. Для обозначения двери мы наметим обе ее створки.

Итак, идя от простого к сложному, если я под «дверью» помещаю «рот», это будет значить «посланник», — тот, который дает проскользнуть своему слову под дверь другого... Еще комбинация, — я рисую знак, изображающий «сердце», и помещаю его тоже под знаком «дверь», — получается слово, обозначающее «меланхолию, печаль, сожаление»... И вправду, — не оставляем ли мы нашего сердца на пороге дома, только что закрывшегося для нас?

Вы видите, что китайский язык выше нашего, потому что он не только язык, но и целая философия. Что не мешает ему, однако, быть, в некоторых и даже многих отношениях ниже нашего, — и прежде всего в отношении ужасающего количества времени, необходимого для основательного его изучения.

Я очень скромный синолог, хотя давно изучаю китайский язык; я знаю еще очень мало знаков и не могу считать себя в числе грамотных. Но несмотря на это, я должен сказать, что китайский язык единственный, который изучаешь с удовольствием, без скуки или утомления, — потому что, изучая эти знаки, не только упражняешь память, но и получаешь урок мудрости, изобретательности, вдумчивости и иронии. В тот день, когда я узнал, что слово «син» (сердце) под знаком «мен» (дверь) значит «меланхолия», я невольно обратился к моим личным ощущениям... Моряк, я вспомнил все расставания, все прощания и всю глубокую, бесконечную печаль жизни...

В конечном итоге я полагаю, что такой сложный язык как китайский, конечно, менее доступен массам, нежели современные нам языки, и вследствие этого представляет более удобств для всякого рода таинственных мистификаций различных мудрецов, имя же им легион...

Но так или иначе, остановимся на том, что все эти знаки и начертания понимаются во всех восемнадцати провинциях империи десятью тысячами ученых, а местами и в других государствах; так, например, в Японии и всеми иностранцами, которых нельзя назвать варварами. Но не мешает

иметь в виду, что во всех восемнадцати провинциях, в Пекине, Кантоне, Гайнани, или Шантунге, эти знаки будут произноситься на восемнадцать совершенно различных ладов.

Так, например, — то, что здесь выговаривается «син», в другом месте может звучать «пао».

Отсюда вытекает еще одна особенность китайского языка, изобилие каламбуров. Два абсолютно различных знака, обозначающих две окончательно непохожие одна на другую вещи, могут произноситься совершенно одинаково. Беру первый попавшийся пример, слово «гоанг» — «священный», «высший», «царственный», которое пишется различно, но произносится одинаково и обозначает в то же время «желтый»...

Нетрудно заметить, во всяком случае, что игра слов на китайском языке имеет то преимущество перед нашей, что она менее груба, так как основана не только на произношении слов, но и на смысле их.

Припомните Мюссе, его лучшее произведение «Фантазио»... Принцесса упрекнула шута в том, что он играет словами:

— О! — ответил Фантазио, — игра слов не менее почтенна, чем игра мыслями, действиями или людьми.

В Китае этот способ имеет широкое распространение... Просодия китайского языка не слишком отличается от нашей. Такое количество слов произносится одинаково, что рифмование не представляет никаких трудностей. Оттого так много в Китае поэтов, и те древние тексты, о которых я собираюсь говорить, написаны большей частью в рифмованной прозе. Однако, не всегда. В китайских стихах налицо неизменно ритм, но большие поэты пренебрегают там иногда рифмой в силу ее чрезмерной доступности. В китайских стихах тоже различают то, что мы называем «стопами».

Чаще всего китайские стихи четырехстопны. Это как раз то, что нужно, если принять во внимание сложность, богатство китайских слогов, из которых каждый целое слово. Четыре стопы — прекрасная пропорция для стиха. Употреб-

ляют китайские поэты и шестистопие, но не более.

Что же до правил периодичности, то они мало чем отличаются от принятых у нас. И в этом мы сейчас убедимся.

Но прежде, чем погрузиться в китайскую поэзию, я бы хотел коснуться, хотя бы поверхностно, коренной китайской философии, которая не что иное, как мораль, которая чужда метафизики, которая покоится на глубоких, неразрушимых основах... Желательно было бы показать, насколько эта философия крепка, и до чего каждое ее положение приложимо к современности.

Передо мной на столе лежат книги, называемые у китайцев «классическими» и «священными». В действительности это... плеоназм, — по существу имеются лишь «священные книги», так как книги «классические» не что иное, как отдельные выдержки из «книг священных», приспособленные для детского или среднего понимания. Их издали отдельно для обращения в среде китайских учащихся.

Но для нас важно лишь то, что существуют китайские книги весьма древнего происхождения. Мне кажется, — я упомянул уже о том, что в XVIII веке до нашей эры в Китае появился замечательный муж по имени Лао-Тзы, сведения о делах которого дошли до нас весьма смутными и по всем вероятностям неполными. Я назвал его «отцом спиритизма». Он и был таковым, между прочим. Действительно, кто поручится за то, что метафизика, спиритизм и суеверие не родные братья?

Труды Лао-Тзы никогда не были переведены полностью на французский язык, да и вообще ни на какой язык. Пытались перевести их на немецкий, за неимением, вероятно, более тусклого языка, но... из попыток ничего не вышло, — на немецком языке текст Лао-Тзы стал еще непонятнее, чем на китайском. Так что из его текстов мы можем извлечь не так много. Но можно считать вполне достоверным, что ответственность за три четверти самых нелепых китайских суеверий лежит до известной степени на Лао-Тзы.

Так, например, когда я читаю в китайском подлиннике следующую фразу — для точного предсказания времени

обращаются к черепахе и тысячелистнику в таких выражениях:

«При выборе дня мы доверяем вам, о, высокочтимая Черепаха, ибо вы следуете правилам верным и постоянным; и также мы верим вам, о высокочтимый Тысечелистник, ибо вы тоже следуете верным и постоянным правилам!»

Я-то вполне уверен, что только Лао-Тзы виновен в том, что подобная глупость сохранилась до наших дней!

При всем том я вынужден заметить, что цитированный текст живо напоминает мне кофейную гущу, к которой обращаются наши «пифониссы». Да, мы и китайцы, китайцы и мы, одинаково склонны обращаться к ведуньям и искать провидения будущего то в капризном рисунке стеблей тысячелистника, брошенных одним движением на стол, то в причудливых пятнах китайской туши, которую выплескивают в щит черепахи и потом сушат на огне. Вероятно, и вам когда-нибудь китайские прорицатели предсказывали ваше будущее.

Можно только удивляться тому, до чего два народа, рожденных на противоположных концах земного шара, могут сходиться в области диких суеверий!

Я очень хотел бы раскрыть тайну этого явления, но должен признать мои познания недостаточными и отказаться от разрешения непосильной задачи.

Остается добавить, что китайцы, знавшие астрономию задолго до нас, полагали, подобно нам (без всякого для них оправдания, так как они знали, о чем идет дело), возможным делать различные предсказания по затмениям луны и солнца. Вполне допустимо, чтобы круглый невежда усматривал непосредственную опасность в солнечном затмении, но когда это находит ученый, это и дико, и непонятно.

Вот что я нашел в «Чеу-Кинг», древней китайской книге: «Во время соединения луны и солнца».

(Обратите внимание на слово «соединение». Китайские астрономы того времени отлично знали истинную причину затмений. Их суеверие, таким образом, не аналогично суеверию дикаря, полагающего, что луну сожрал дракон. Они отлично знали, повторяю, в чем дело...)

«Во время соединения луны и солнца, в первый день второго месяца, двадцать восьмого по кругу, солнце затмилось, что является весьма дурным предзнаменованием... Луна затмевается, солнце тоже... Судьба людей достойна сожаления».

Когда столь мудрый народ и столь трудолюбивый находится в течение многих и многих веков во власти таких суеверий, я склонен всегда искать причину не «в чем-либо», а в «ком». Я не хотел бы злословить по адресу Лао-Тзы, философию которого изложил столь поверхностно, но думаю, что он главный виновник всех китайских странностей, давших повод к возникновению «Китая ширмочек», над которым так много и так долго издевались и который заслонял собою подлинный Китай.

Перейдем теперь к величайшему из всех мужей Китая, к тому Кунг-Тзы, которого на западе называют Конфуцием, и который на пороге VI века до нашей эры дал основы этики.

Четыре классических книги Китая, — Та-Хио, что значит «Великое исследование», — Чунг-Иунг, то есть «Неизменяемая середина», «Беседы Конфуция с учениками» и «Беседы Менция», ученика Конфуция, жившего сто лет спустя.

«Великое исследование» содержит всего одну главу, — можно было бы даже сказать, одну фразу! Ничего не может быть проще и примитивнее этого «Великого исследования», положенного в основание китайской морали, — от сложного к простому, от коллектива к личности, — вот его суть.

Но я предпочитаю прочесть вам главную фразу этой книги...

Самый точный разбор ее ничего не стоит, тогда как текст сам по себе великолепен:

Древние короли, — пишет Конфуций (он сам изложил «Великое исследование»), — чтобы зажечь истинную добродетель в сердцах всех людей, начинали с того, что старались как можно лучше управлять своими государствами. Чтобы

лучше управлять государствами, они сначала устанавливали добрый порядок в семьях...

Чтобы утвердить добрый порядок в семьях, они старались самоусовершенствоваться, они учились управлять движениями своего сердца; чтобы управлять движениями сердца, они воспитывали свою волю; чтобы усовершенствовать волю, они развивали себя.

Они развивали свой ум, проникая в суть вещей, Проникновение в суть вещей возносит наши познания на вершину. И когда наши знания достигнут вершины, воля будет совершенной, движения сердца подчинены воле; а когда движения сердца будут управляемы, человек избавится от ошибок. Исправив самого себя, он исправит семейный уклад; а когда в семьях царит порядок, государство хорошо управляется; и в конечном итоге вся империя процветает в мире.

Слово «Чунг-Иунг» — по-французски «Неизменяемая середина».

Эту неизменяемую середину Конфуций определял, как высшее достижение истинного совершенства.

Когда душа свободна от чувств радости, печали или гнева, — писал он, — говорят, что она находится в равновесии. Когда эти чувства рождаются в душе, не переходя известных границ, говорят, что они не нарушают гармонии. Равновесие есть отправная точка всех мировых процессов. Когда гармония и равновесие достигают своего полного выражения, каждое явление на земле и на небе получает свое место и все существа развиваются правильно. Равновесие и мудрость требуют, разумеется, воздержания от небрежности и преувеличения.

Однажды Кунг-Тзы (Конфуция) спросили:
«Кого из ваших учеников вы предпочитаете?»
Он ответил:

«Один никогда не исполняет всего того, что должен исполнять; другой всегда делает немножко больше, чем требуется».

«Значит, — сказали ему, — последний, конечно, и есть лучший?»

«О! — ответил Конфуций, — одинаково плохо делать больше, чем нужно, и меньше, чем нужно».

Когда ученик его, по имени Тзы-Лунг, вернулся с праздника последнего дня, то есть с праздника 1 января, если вам угодно, Конфуций спросил его:

— Вы остались довольны, Тзы-Лунг?

Тзы-Лунг ответил:

— Конечно, нет! Казалось, что все жители провинции лишились рассудка. Я не могу понять, какое удовольствие в том, чтобы присутствовать при таком зрелище!

Тогда учитель сказал ему:

— Вы не понимаете, что, давая народу один день веселья после трехсот шестидесяти четырех дней труда, правитель поступает хорошо? Если бы лук всегда держали напряженным, то ни Ву-Ванг, ни Венн-Данг (основатели династии Че-У) не сохранили бы за собой престол долгое время! А если бы держали лук всегда ослабленным, то ни Ву Ванг, ни Венн-Данг не сделали бы императорами.

Умеренность, равновесие, справедливость, золотая середина, — таковы прочные основы философии, которой учат нас китайские древние книги. Отсюда последовательно вытекает идеал, который нас удивит, быть может, но удивит, главным образом, в силу своей скромности.

Однажды Тзы-Лунг спросил Конфуция: что такое совершенный человек?

Учитель ответил многозначительно:

— Тот, который обладал бы осторожностью Тзанг-У-Чунга (а он был до того осторожен, что всегда пребывал в нерешительности), тот, который обладал бы честностью Кунг-Хо (а он потерял жизнь, отыскивая незначительные погрешности счета), храбростью Чуанг-Тзы (который дал себя убить ни за что восставшим) и смышленностью Иен-Киу (которого даже самые речистые адвокаты не могли заставить

замолчать), тот, который, кроме того, был бы сведущ в церемониале и музыке, — тот мог бы назван быть совершенным человеком.

И, улыбнувшись внезапно, добавил:

— Быть может, в наши дни, чтобы быть совершенным человеком, нет необходимости совмещать все эти качества... и, Бог мой, тот, который несмотря на возможность наживы, остается справедливым, который не бежит перед лицом опасности и тот, который, дав обещание, держит его несмотря на то, что протекали долгие годы, — тот, я нахожу, уже достаточно совершенен.

Этот человек, столь мягкий в отношении других, был строг к самому себе; он обладал добродетелью всех великих людей,—он был скромен.

— Мудрец, — писал он, — соблюдает четыре главных правила, а я, Конфуций, я никогда не мог соблюсти даже одного. Я еще не воздал моему отцу всего того, что требую от моего сына, ни моему государю того, что требую от подданных, ни моему старшему брату того, что требую от младшего; и для друга моего не умел первым сделать то, что я хотел бы, чтобы он мне сделал... Бойтесь все обещать больше, чем можете исполнить!

В другой раз он сказал своим ученикам:

— Вы думаете, что я обладаю обширными познаниями? Но я не обладаю никакими познаниями! Только, — добавил он, в виде примера, — когда меня спрашивает человек самого скромного звания, и как бы невежествен он ни был, я обсуждаю с ним вопрос от доски до доски, как бы я поступил в беседе с мудрецом, не пропуская ничего.

Эту скромность он проповедовал всем. Известна его беседа, которую я хочу передать здесь, находя ее чрезвычайно красивой и поучительной. Подобно Платону, он имел привычку беседовать с учениками, задавать им вопросы и выслушивать их ответы. Однажды, находясь со своими любимыми учениками Тзеу-Лу, Тзенг-Си, Иен-Лу и Кунг-Си-Хуа, сидевшими рядом с ним, он сказал:

— Говорите со мной откровенно, позабыв, что я ваш учитель. Когда вы у себя, говорите вы себе: «Я человек неизве-

стный, люди не знают моих способностей и достоинств, но если бы люди их знали, они доверили бы мне великие дела».

— Что это за дела, которые вы бы желали, чтобы вам доверили? Вы, Тзеу-Лу, скажите мне:

И Тзеу-Лу поспешил ответить:

— Предположим, — сказал он, — что государство, обладающее тысячью военных колесниц, стонет под игом двух других могущественных государств, что оно даже подверглось разграблению и что у него иссякли припасы. Так вот! Если бы мне было передано управление этим государством, то мне кажется, я сумел бы вдохнуть мужество в сердца жителей, обуздать врагов, насадить мир и заставить торжествовать справедливость.

Учитель посмотрел на Тзеу-Лу и улыбнулся:

— А вы, Иен-Лу, — спросил он, — что бы вы сделали?

— О! — отвечал Иен-Лу, — если бы мне довелось управлять маленьким государством, пространством в шестьдесят или пятьдесят стадий, мне кажется, что в три года я довел бы жителей до благоденствия. А для поддержания этикета и культивирования музыки я призвал бы мудреца.

На этот раз Конфуций не улыбнулся, но повернувшись к третьему, сказал:

— А вы, Кунг?

Кунг-Си-Хуа ответил;

— О! Я не говорю, что способен на что-либо подобное, но так мне подсказывает мое честолюбие... Я бы хотел одетым в черную тунику, с черной шапочкой на голове, исполнять обязанности помощника во время религиозных процессий в память предков и в церемониях императорского двора.

Конфуций размышлял некоторое время. Потом, повернувшись к четвертому ученику — Тзенг-Си, сказал:

— А вы, Тзенг, чтобы сделали?

Тзенг-Си, человек очень странный, игравший постоянно на гитаре, даже тогда, когда говорил учитель (ему по этому поводу часто делали замечания!), — Тзенг-Си выпустил из рук гитару и струны ее зазвенели...

Тзенг-Си встал, поклонился и ответил:

— Я не разделяю вожделений трех других учеников!

— Какое же зло вы в том видите? Каждый может чувствовать, как ему вздумается! — сказал учитель.

Тогда Тзенг-Си сказал:

— Так вот! Весной, когда созреет листва деревьев, я бы хотел отправиться в сопровождении молодых людей моего возраста и старших к реке Ли, омыть руки и ноги в теплой струе, вдохнуть свежий воздух в тени ветвей, петь стихи и так вернуться, потому что мне кажется, я не годен ни на что иное.

И учитель вздохнул тогда и сказал:

— Я одобряю это желание.

* * *

Он проповедовал необходимость самосовершенствования для каждого, убежденный, что в этом — все спасение общества и государства. Он не пренебрегал, однако, и религией, хотя на вопрос окружающих, что он думает о смерти, ответил:

— Я еще не знаю, что такое жизнь. Когда я пойму это, то займусь смертью!

* * *

Чтобы еще ближе познакомить вас с китайцами, я должен перейти от общего к частному и показать, как отразилась эта строгая мораль на китайских нравах.

Существует солидное сочинение «Ли-Ки», — одна из пяти священных книг Китая, которая заслуживает внимательного изучения. Рядом с Ли-Ки я бы поставил Чеу-Кинг — сборник стихов. Если вы спросите, почему из всей класси-

ческой китайской литературы я выбираю именно эти книги, я вам отвечу цитатой из Конфуция.

Вот что он сказал по этому поводу:

«Когда приходишь в какую-нибудь страну, то легко определяешь, какая форма обучения должна быть выбрана для ее жителей. Если они незлобивы, покладисты, искренни и добры, с ними нужно заниматься по Чеу-Кинг. Если они почтительны, умеренны и внимательны, преподавание должно быть основано на Ли-Ки».

Я, так как я пишу для моих компатриотов, то я не стану искать лучшего!..»

Ли-Ки — «Книга ритмов», — очень древняя книга. Первоисточник ее в точности неизвестен, но, вероятно, она восходит к третьей династии Че-У, правившей с XII по II век до нашей эры; некоторые же тексты еще более отдаленного времени.

Несмотря на то, что первый император четвертой династии Т'зин сжег, как мы знаем, старые книги и приказал закопать живыми всех, кто по ним читал, всю эту литературу удалось восстановить по памяти, быть может, не вполне точно, тотчас же после падения династии, то есть лет пятьдесят спустя. (Династия Т'зин'ов была у власти весьма недолго).

Таким образом, в наших руках находится текст, если и не вполне точный, то весьма близкий к подлиннику.

Эта книга содержит все правила, коим должен строго следовать каждый китаец, начиная от рождения и до самой смерти: рождение, воспитание, брак, развод, семейные отношения, отношения к главе государства, наконец, смерть и погребение — все оговорено здесь до мельчайших подробностей.

Необходимо иметь в виду, что весь китайский ритуал, каким бы странным, чуждым и отличным от всего, к чему мы привыкли, он нам ни казался, направлен к одной цели.

На второй странице Ли-Ки я читаю следующую заповедь:

Перед лицом наживы не насилуйте справедливости, дабы воспользоваться ею. Перед лицом несчастья не пренебрегайте обязанностями, чтобы избежать его. Не старайтесь одерживать верх в мелких распрях. Во время разделов требуйте только то, что вам следует. Не утверждайте, если сомневаетесь, а когда уверены, то выражайте ваше суждение; но из скромности преподносите его, как если бы то было мнение другого, старейшего и более умудренного.

Несколько слов о китайском воспитании.

В шесть лет, — читаем мы в Ли-Ки, — ребенок должен учить названия чисел и четырех стран света. В семь лет дети разного пола не должны более сидеть на одной циновке. (Совместное обучение в Китае не пользовалось сочувствием).

В восемь лет они должны научиться уступать место старшим, а также почтительности и вежливости. В девять лет их учат счислению. В десять лет мальчика берут из дома родителей, он не возвращается туда больше, берет уроки у преподавателя, учится читать (то есть изучает знаки и вместе с чтением изучает, таким образом, философию); он не будет носить ни туники, ни панталон, пока не сделается взрослым. В то же время он учится скромности и снисходительности.

Мужчина в тридцать лет уже женат и начинает управлять работами, заниматься которыми ему приличествует. Он расширяет тогда свой кругозор, и никакое правило не должно ограничивать его в стремлении к познанию. В сорок лет он получает доступ к государственным должностям.

Пятидесяти лет он может быть назначен великим префектом или министром, а семидесяти лет он отстраняется от дел.

Десяти лет девочка не выходит больше из помещения для женщин. Наставница учит ее послушанию и тому, чтобы слушать с приветливым и ласковым лицом; учит прясть коноплю, сучить шелковые нитки, ткать ленты и вить шнурки. Она учится обычным женским обязанностям; она сама учится смотреть за священными предметами, приносить масла, ва-

зы из бамбука, деревянные сосуды; учиться помогать при церемониях и расставлять дароприношения. В пятнадцать лет она получает шпильку для волос (предназначенную для возмужалых). В двадцать лет она выходит замуж и тогда ею больше не занимаются.

Не подумайте, однако, что браку здесь не придают особенного значения. Ярким примером служат правила, которым подчинялся сам император:

«Сын Неба, — говорится в Ли-Ки, — глава I, часть II, параграф II), — Сын Неба имеет одну жену первого ранга, три второго, двадцать семь третьего, девять четвертого, восемьдесят одну пятого и неограниченное число шестого».

Вот это император!

При этом, если вам кажется, что подобные правила продиктованы пренебрежительным отношением к женщине, то вы сильно ошибаетесь!.. Ибо даже тогда, когда имели место весьма досадные случаи и по вине женщины развод становился неизбежным, то церемония развода сопровождалась жестами самой утонченной галантности, которой мы могли бы позавидовать.

Так, например, если владетельный князь отсылал свою главную жену, то, возвращаясь в родительский дом, она путешествовала, как жена князя. Прибыв в дом (к отцу), она была принята, как княгиня. Посол, который сопровождал ее, от имени мужа говорил:

— Мой князь, ваш покорный слуга, недостаточно образован, чтобы служить духам земли и теням усопших предков вместе с этим редким созданием. По его повелению, я, такой-то, посланник его и слуга, существо презренное и ничтожное, позволяю себе оповестить об этом офицеров этого благородного двorca.

На что офицеры, по поручению принимавшие посольство, отвечали:

— Несомненно, вина с нашей стороны. Во время переговоров, предшествовавших браку, наш милостивый князь не получил разъяснений и указаний на ужасные недостат-

ки принцессы; и вследствие этого мы только и можем, что принять ее из ваших рук обратно с почетом.

После этого передавали вазы и прочую утварь вместе с приданым и офицеры дворца принимали все это.

Если событие имело место и не в столь высоких кругах, то вся церемония была та же.

И верно, — уж если разводиться, то почему не сделать это галантно? Эти старые китайцы вполне правы...

Все это представляется довольно ребяческим и формальным, но в действительности этот формализм имел прочную основу и в деле правосудия, например, только усугубляя строгое применение действующих законов. Так, например, когда высокопоставленные, облеченные большою властью особы совершают проступок или преступление и есть основание думать, что они не понесут него наказания, то обращаются к Ли-Ки. В Ли-Ки все предусмотрено; предвидя подобные случаи, Ли-Ки говорит, что положение и сан виновного не должны приниматься во внимание правосудием. Если кто-либо из родственников правителя совершил тяжкое преступление, то, чтобы затушевать скандал, дело разбирал не городской следователь, а сельский, и вся процедура происходила вне стен города.

По окончании разбирательства, судья шел к правителю и объявлял о состоявшемся решении. Если виновный заслуживал смерти, то он говорил:

— Преступление такого-то карается смертью.

Правитель отвечал:

— Я прошу о помиловании такого-то!

Он «просил», так как право помилования принадлежало одному судье. Тогда судья произносил вторично:

— Виновный заслуживает смерти.

Правитель вторично просил о помиловании; судья снова настаивал на применении смертной казни. А когда правитель в третий раз просил о снисхождении, то судья выходил, не ответив ничего, и давал приказание привести приговор в исполнение немедленно. Тогда правитель посылал к судье офицера сказать:

— Приговор вполне правилен, однако, я прошу помиловать осужденного.

И тогда судья отвечал:

— Очень жаль, но теперь слишком поздно!

Но помимо преступников, на земле, по счастью, очень много невинных, и их-то нужно оградить от возможности сойти с пути истинного. На этот случай китайцы издали ряд следующих правил:

— Пусть мужчины не говорят о предметах, касающихся женщин, ни женщины о том, что касается одних мужчин. Пусть мужчина и женщина не передают друг другу ничего из рук в руки иначе, как во время траурных церемоний. В иных случаях, если мужчина хочет передать что-либо женщине, то пусть воспользуется корзинкой. Если нет корзинки, то оба должны опуститься на колени; мужчина положит вещь на землю и тогда женщина возьмет. Мужчина и женщина не ходят к одному колодцу или в одну баню. Они не должны отдыхать на одной циновке, не должны просить или занимать что-либо друг у друга, и никогда не надевать одежд друг друга. Сказанное в помещении женщин не должно выходить из него, и сказанное вне не должно проникать в него.

Это было слишком суров! Но ведь это было так давно... и кто знает — может быть, необходимо в то время, — если, при том, считать, что в этом нет необходимости сейчас!

* * *

Почти половина Чеу-Кинг и Ли-Ки посвящена траурным церемониям. Я не стану портить ваше настроение столь мрачными вещами. Однако, дабы показать, что в благоустроенном государстве даже последние мгновения жизни должны быть подчинены соответствующим правилам, приведу несколько примеров. Сообщая о том, что умер Сын Неба, нужно сказать, — «он пал, как вершина высокой горы»; о князе выражаются проще — «он рухнул с грохотом»; о ве-

ликом префекте — что он «достиг конечной цели своей деятельности»; о простом офицере говорят: «он не получает больше своего жалованья» и, только когда дело идет о простом смертном, то можно сказать: «он умер».

Составитель Ли-Ки не ограничился рецептами на все случаи жизни от рождения до перехода в лучший мир; он предложил некоторую дисциплину даже применительно к явлениям природы! Согласно его правилам, весну в Китае в те времена встречали по следующему чину:

— В дни первого весеннего месяца солнце находится в созвездии Пегаса. Созвездие Ориона бывает в зените вечером, а созвездие Скорпиона утром.

— Из имен в эти дни должно даваться имя Киа-Хи.

— Рыбы, змеи, жесткокрылые относятся к этому месяцу*.

— Этому месяцу соответствует число 8, кислый вкус и горький запах.

Жертвы приносят сначала гениям внутренних дверей, в качестве жертвы идет селезенка животных.

Восточный ветер приносит оттепель, зимовавшие животные начинают приходить в движение; рыбы, спавшие в глубине, поднимаются до поверхности льда. Выдра приносит в жертву богам рыб (надо думать, что она оставляет их себе). Возвращаются дикие гуси, большие и маленькие...

Сын Неба живет в боковом флигеле, выходящем на север. Его повозка украшена голубым штандартом и вышитым на нем драконом; ее везут лошади голубовато-серой масти. Одежды его сини и синие драгоценные камни висят на его шапочке и на поясе. Он кушает рожь и мясо барана; принадлежности, коими он пользуется, вырезаны ножницами и на них выгравированы рельефы растений, выходящих из земли.

— В этом месяце имеет место встреча весны. За три дня до ее прихода старший астроном извещает Сына Неба, говоря:

* Первый месяц весны не март, как бы вы могли думать, а январь, — китайцы считали на два месяца вперед (*Прим. авт.*).

— В такой-то день начнется весна. Сила природы проявится по преимуществу в растительности.

И тотчас же император предписывает себе воздержание. В день прихода весны он идет встречать ее в долину, лежащую на восток, за ним следуют три великих министра империи, девять министров второго ранга, все великие князья, все мелкие князья и главные префекты. По возвращении он раздает награды.

(Как видите, обычай раздавать ордена офицерству 1 января сложился очень давно).

— Затем он приказывает министрам опубликовать распоряжения, вывесить регламенты, распределить поздравления; он повелевает секретарям стоять на страже законов, обнародовать эдикты, а главе астрономов наблюдать за солнцем, луной, звездами и созвездиями, особенно за обратным движением луны по отношению к солнцу.

(Астрономические наблюдения тысячелетней давности, поспорить с которыми затруднилась бы и наша обсерватория).

— В этом месяце благоприятный день. Сын Неба испрашивает у Великого Повелителя обильный урожай. В день благоприятствующий он ставит соху на свою повозку между возницей и офицером, и вместе с великим министром, девятью другими, всеми князьями и префектами, он пашет сам ниву небесного владыки. Император проводит три борозды; великий министр пять; остальные министры и князья девять. По возвращении во дворец, император сзывает в особую залу трех великих министров, девять других князей и префектов и, поднимая чашу, говорит:

— Я предлагаю вам этот напиток в награду за усталость и труды.

— В этом месяце опускаются небесные туманы, а туманы земли поднимаются к небу; небо и земля в полной гармонии; растения поднимаются высоко.

— Если бы в первый весенний месяц император повелел соблюдать правила на лето, то не выпали бы дожди, растения погибли и люди опасались бы голода. Если бы император повелел соблюдать правила на осень, начала бы

свирепствовать чума, задули бы ветры, дождь полил не переставая, а на нивах произросли одни плевелы. Если бы он следовал зимним правилам, то непрерывные дожди причинили бы большие убытки, среди лета выпал бы снег и поля не дали бы урожая.

* * *

Несколько слов о китайской поэзии.

На свете едва ли найдется книга более древняя, чем Книга Стихов Китая. Когда, в 1214 году до нашей эры, Т'зин-Чеу Гоанг-Ти, первый император четвертой династии, сжег все книги, а пятьдесят лет спустя китайские, оставшиеся в живых, книжники, старались их восстановить, то естественно, что скорей всего это удалось в отношении поэзии. Стихи еще звучали в памяти у многих; и вот почему в Чеу-Кинг собраны стихи, которые относятся, наверное, к XVII веку до нашей эры. Даже в гробнице египетского фараона, которую открыли в последние годы в долине Царей, нет ничего, что восходило бы к временам еще более отдаленным.

Да если бы даже Египет и подарил нас документами исключительной важности, то интерес к ним не был бы так велик, ибо Египет умер и умер две тысячи лет тому назад. Старый же Китай живет и посейчас. Любой гражданин Пекина или Кантона может смело вести свой род от Хана, прапрадеда китайцев, жившего за сорок или пятьдесят веков назад. И не было перерыва, не было мертвой точки между этим седым прошлым и настоящим, — все тот же Китай!

Стихи Чеу-Кинга уводят нас к затерявшейся в веках юности единственного в мире народа, сказочно древнего и сказочно живого в одно время, народа, перед которым лежит великое будущее.

Конечно, Чеу-Кинг не может быть в полном объеме отнесен к XVII веку до нашей эры, — только несколько поэм дошло от столь отдаленной эпохи. Остальные сложились

при династии Чэу в XII, X и VIII веках. Но все же это, как-никак, а эпоха Гомера!

Поэзия того времени, подобно нашей, знала три средства выразительности: описание (наши романтики ничего нового не сказали, как видите), сравнение (сильно распространено у нас, особенно во времена ренессанса; блестящие примеры даны Ронсаром), и, наконец, непосредственные впечатления, состояния души, психологии, чувствования... все то, что составляет суть современной литературы.

* * *

Я начну с описания, которое, кстати, дает представление о том, что такое была охота тридцать веков тому назад:

Четыре серых коня, выносливых и быстрых, запряжены в повозку князя, шесть еще ведут в поводу. Загонщики поднимают самцов (наши охотничьи правила уважались уже и в то время), и только самцов тех животных, которых позволено поднимать в это время года. Дикие животные велики и жирны. Князь слева объезжает их и поражает стрелами. После охоты, князь со свитой прогуливается по парку. Лошади хорошо дрессированы и идут шагом; охотничьи собаки, одни с длинными, другие с короткими мордами, отдыхают на легких повозках, лошади которых позвякивают бубенчиками, навязанными на удила.

Перед вами нечто, весьма похожее на возвращение с охоты где-нибудь в Бретани.

Но как бы захватывающи ни были описания, и сколь гениальны ни были бы сравнения, — поэзия всех времен и народов неизменно черпала из другого, более обильного источника, — из области чувств, душевных состояний... а существует ли что-либо более вдохновляющее, чем любовь? Итак, вот образцы древней китайской любовной поэтики.

— На юге (говорит поэт) немало высоких деревьев, почти лишенных ветвей. Под тенью их нельзя отдохнуть, — они не имеют ее. По берегам великой реки проходят девушки, но добродетель их так же трудно поколебать, как перейти вброд ту великую реку, а она глубока!

— Я хотел бы срезать колючий кустарник, что поднимается над оградой из жимолости. Эта девушка будет праздновать свою свадьбу. Она так хороша, что я был бы счастлив давать корм ее лошади. Но невозможно перейти реку вброд, когда она глубока! Девушка не приняла бы...

— Я хотел бы срубить деревья, что шумят высоко над кустами. Эта девушка завтра будет замужем, а за один ее взгляд я готов носить корм ее собаке. Но невозможно перейти реку, она слишком глубока! Девушка не согласится никогда!

Но как бы ни велика добродетель, любовь порой торжествует. Поэт, оставивший нам строки, что я привожу ниже, вероятно был влюблен.

— Та девушка, что в уединении скрывает свою красоту, должна была ждать меня за углом ограды. Я люблю ее и не вижу. Возвращаясь с лугов, где она гуляла, она принесла мне цветов. Как хороши эти цветы и как необычайны!.. То есть нет, эти цветы обыкновенны и даже некрасивы, но особа, что дала их, о! Какое чудо!..

Как и теперь, влюбленные тех отдаленных времен жаловались горько на разлуку:

Мой друг собирает цветы на полях. Каждый день, проведенный без него, представляется мне долгим, как три месяца.

Мой друг собирает плоды в садах. Каждый день без него долог, как три времени года.

Мой друг собирает хворост в лесах. Каждый день вдали от него представляется мне тремя годами.

В этом старинном отрывке почти современная грусть!

Но любовь чувство непрочное, — не всегда стоит ему доверять. Один из первых поэтов преподавал девушкам совет осторожности в едва ли не лучшей из поэм Чеу-Кинга, написанной в ироническом тоне...

Повествование ведется, по-видимому, от лица юноши:

Я срываю цветы вишни в стране Ме-И. Знаете ли вы, о ком я думаю? Так вот! — Я думаю о прекрасной Менг-Кианг.

Она обещала встретиться со мной в Санг-Чунге. Я был там; она пришла еще раньше меня, прошла до Чанг-Кунга, а потом проводила меня до границы.

А теперь я срываю цветы сливы в стране Ме-И. Знаете ли вы, о ком я думаю? О прекрасной Менг-И. Она назначила мне свидание в Санг-Чунге. Она тоже еще раньше меня прошла до Чанг-Кунга и тоже проводила меня до границы.

А теперь я срываю цветы персика в стране Ме-И. Знаете ли вы, о ком я думаю? О прекрасной Менг-Иунг! Она тоже мне назначила свидание в Санг-Чунге, и тоже прошла раньше меня до Чанг-Кунга и, как и те, проводила меня до границы.

Урок благоразумия в легкой форме! Быть может, следствием хорошо воспринятого урока в том же роде являются три строфы, написанные молоденькой девушкой.

Я умоляю друга моего Чунга не врываться в наше селение и не ломать ив, что посадила я под окном. Не то, чтобы мне были дороги ивы... но я боюсь моих родителей. Чунг вполне заслужил, чтобы его любили, но мне не снести упреков родителей.

И я прошу Чунга не перескакивать через стену и не ломать шелковиц, что посадила я за оградой. Мне не дороги деревья, но боюсь моих братьев. У них дурной характер. Чунг вполне заслужил, чтобы его любили, но нужно страшиться нрава моих братьев.

И я умоляю Чунга не прыгать через окно в мою комнату и не ломать горшков с цветами на подоконнике. Не то, чтобы я любила эти горшки, но я боюсь лишних разговоров. Чунг вполне заслужил, чтобы его любили, но пересуды, ох, эти пересуды...

Приведенным текстам не менее трех тысяч лет.

В VIII пеке нашей эры Китай дал лучших своих поэтов, во всяком случае, двух величайших, — Ли-Таи-Пе и Ту-Фу, которых можно смело поставить рядом с Мюссе и Ронсаром.

Я процитирую параллельно поэта глубокой древности и стихи Ли-Таи-Пе и Ту-Фу. Это даст вам возможность окинуть одним взглядом всю линию, по которой шла китайская цивилизация в ее никогда не прерывавшемся движении.

Перед вами рассказ, восходящий к временам второй династии, то есть приблизительно к XVII веку до нашей эры. В то время династия Чангов сменила династию Хиа. Согласно преданию, мать первого императора Чангов спала однажды с раскрытым ртом; ласточка уронила ей в рот яйцо, а через некоторое время у ней родился сын — император.

— Так хотело небо, — говорит поэт, — ласточка спустилась и ей обязана династия Чангов своим происхождением. Чанги жили в стране Ин; они были могущественны и Владыка Неба повелел воинственному императору Чангу установить с точностью границы во всех частях империи.

— Мы, недостойные потомки его, взошли на гору Кинг, где величественно поднялись к небу ели и кипарисы. Мы срубили кипарисы и ели и перенесли их на самую вершину. Там мы разрубили, сравнивали стволы и распилили на нужные нам отрезки. Длинные еловые стропила, высоки и бесчисленны кипарисовые колонны. Мы закончили этот храм, и душа императоров Чанг будет покоиться в нем, и не выйдет из него никогда. Отсюда будет бдить она над страной.

Не правда ли, — подлинная ода! И притом из весьма величавых!

А вот поэмы, которым от роду на двадцать пять веков меньше. Сначала поэмы Ли-Таи-Пе.

Ли-Таи-Пе был чистым лириком. Его поэзия приближается к поэзии Мюссе... тем более что, подобно Мюссе, он отличается силой вдохновения и ставшей слишком известной склонностью к преувеличениям. Его творения — неизменной чистоты, благородства, теплоты и всегда безыскусственные — не могут оставить нас равнодушными.

Вот поэма Ли-Таи-Пе:

Молоденькие девушки срывают водяные лилии на берегах Ио-Ие, они почти скрыты гроздьями цветов и завесой листьев. Невидимые, они бросают друг другу жемчужины смеха и песен. Под солнечным лучом, в зеркале вод отразились их грациозные силуэты..., ветер, напоенный ароматом цветущих ветвей, колышет легкую ткань их одеяний...

Под плакучими ивами на берегу показалась группа всадников... И вдруг, растоптав копытами оброненный сноп цветов, чья-то лошадь ржет и удаляется... А в группе девушек одна стоит смущенная, опустив глаза, и позволяет угадать трепет ее сердца.

Немного философии:

— Повелитель, — говорит Ли-Таи-Пе, обращаясь к своему князю, — вы видите воды Желтой Реки? Они спускаются с неба и стремятся к морю, ни когда не возвращаясь к источнику...

Повелитель, разве вы не посмотрелись в зеркало? Ваши волосы, вчера еще черные, сегодня белее снега.

Поспешим, повелитель. Выпьем триста чаш вина, ибо все течет в едином устремлении, люди, события и воды реки, бегущие к морю.

Можем ли мы предъявить что-либо равное этому? Раз-

ве что-нибудь у Ронсара!

Перейдем теперь к Ту-Фу, современнику Ли-Таи-Пе и его другу, согласно преданию. То была личность совершенно иного порядка, отличавшаяся крайней сдержанностью. Подобно Овидию, Ту-Фу был изгнан приказом императора, по причинам весьма таинственного характера, и никогда не пытался испросить милости. Он умер в изгнании, неизменно отвечая, когда его спрашивали:

— Почему вы не поговорите с императором?

— Что я могу сказать ему еще? Я уже сказал ему однажды, что он неправ!

Вот его стихи:

Ручей кипит, убегая в даль. Свирепый ветер стонет в вершинах сосен и крысы, при нашем приближении, бегут отовсюду и прячутся под разбитыми черепицами. Тут был дворец. Какой князь построил его когда-то? Никто не знает о нем. Кто оставил нам старые развалины на той высокой горе? Никто не ответит больше. А на дороге слышатся шумы, напоминающие стенанья, — то голоса природы слились в единой гармонии, и кажется, что осень созвучна этим печальным руинам.

У князя, что правил здесь, были молодые, прекрасные женщины, — от них осталась горсточка пыли... У него были воины без числа и могучие кони, которых запрягал он в свою колесницу, — от всего осталось лишь это, — обломки, каменная лошадь без ног, без головы...

Глубокая печаль сжимает мое сердце. Я сажусь в густую траву...

Увы! по жизненному пути, которым суждено идти каждому, кто может шествовать долгое время?

Читайте дальше, — вот «Тристии», напоминающие «Тристии» Овидия:

Я был в фаворе когда-то, жил во дворце, богатом живописью. Передо мной курили благовония, и спал я на шелко-

вых подушках...

Теперь, через амбразуры крепости, где мрачно перекликаются часовые, я созерцаю дику растительность на скалах, освещенных луной, а ниже, в тени, что ложится от них, песчаные острова великой реки с уже поблекшим тростником.

(Вспомните Овидия в Констанце!)

Угрюмое спокойствие висит утром и вечером над печальной и пустынной землей. Я переменял сотню мест, но все они в тумане и мгле. Каждая ночь напоминает ту, что ей предшествовала.

На лодках те же рыбаки исполняют ту же работу... А вот ласточки, они собираются в стаи и улетают. Они счастливы, — они улетают!

Романтизм Запада не сказал больше. В произведениях лучших его представителей глубокая грусть не нашла себе более сильного выражения, несмотря на то, что зачастую пускались в ход торжественно-мрачные слова...

Такова древняя китайская литература, — классическая и позднейшая.

Но довольно!

Многие годы я скитался по земле и не было людей и не было народа, которых я не полюбил бы. Почти у всех можно найти драгоценные качества рядом с простительными недостатками... Мне, например, очень нравились мусульманские народы, храбрые, прямодушные, терпимые, несмотря на установившуюся, абсолютно неверную репутацию обратного порядка. Я полюбил чернокожих, населяющих наши африканские колонии, которых беззастенчивая пропаганда выставляет свирепыми варварами, тогда как в действительности имеет место нечто противоположное, — добрые существа, нежные и наивные, и все это тем более, что они примитивны и не вышли из детства народов. Я полюбил многие племена Азии и Америки, потому что все они, или почти все, честны, гостеприимны и верны слову.

Но есть в мире народ, у которого я открыл прежде всего все основные добродетели, — глубокую честность, героическое терпение, — и добродетели, более редкие и исключительные: такое великолепное презрение к смерти, что нам, европейцам, никогда не понять его, неслыханное, философское спокойствие, и самые удивительные интеллектуальные и моральные особенности.

Да, я люблю китайский народ; но еще более чту его и восхищаюсь им, — как почитал бы древнего старца, сохранившего всю свежесть, всю энергию, всю восприимчивость, присоединив к ним мудрость многих тысячелетий.

Таков в действительности китайский народ, единственный среди других народов мира.

ЯПОНИЯ ДРЕВНОСТИ

Я почти превратился в профессора, — предложив рассказать вам о древней Японии, я вынужден буду прочесть, по существу, целый курс истории этой страны. Постараюсь изложить этот курс как можно живее. Боюсь — увы! — что выполню задачу весьма посредственно...

Память сохранила мне одно воспоминание, — ребенком в доме моих родителей, на камине, я видел два горшочка прекрасного зеленого фарфора со множеством фигурок и еще два горшочка золотистого фарфора и тоже со множеством фигурок. Одни были китайские, а другие японские. Таково было мое первое знакомство с Китаем и Японией.

В моем детском представлении конец света был там, где находились три страны, — Китай, Кохинхина и Япония. Когда мой отец, бывавший там неоднократно, рассказывал мне о них, мне казалось, что передо мной раскрываются неведомые горизонты, что-то бесконечно далекое, бесконечно таинственное, непохожее на все то, что я знал, что знали мы, бедные, жалкие люди Европы; и все сильнее разгоралось во мне желание отправиться туда, как сделал когда-то мой отец.

Потом, когда я сделался уже большим мальчиком, — «большим» мальчиком лет пяти, — судьба переселила мою семью в портовый город, — в Марсель. Из Марселя в те времена как и теперь, отплывали почтовые пароходы за океан. И каждое первое воскресенье каждого месяца я неизменно отправлялся к десяти часам утра смотреть, как уходит из бассейна Жольет громадный белый или черный пароход с почтой на Дальний Восток.

Предварительно я забирался на него и осматривал от трюма до палубы; больше всего мне нравилась столовая, в которой столы были накрыты для первого завтрака пассажиров. Звонил колокол, я сбегал по трапу и со всех ног пу-

скался на самый конец мола, к маяку, и смотрел, как скользил мимо быстроходный колосс, уходя все дальше и дальше. Как хотелось мне находиться на нем!.. С тех пор это случалось много раз...

Если Китай долгое время оставался для мира страной фарфора, лакированного дерева и слоновой кости, — то Япония, хотя и более удаленная, никогда не была столь загадочной, хотя бы потому, что она не столь почтенного возраста. О! Она моложе, неизмеримо моложе! Она почти современница Франции, или около того, — мы это сейчас установим!

Япония представляет архипелаг четырех островов, странством равный архипелагу Великобритании. Эти острова Киу-Сиу (Kiou-Siou, — девять провинций), Сикок (Sikok — «четыре страны»), Ниппон, главный остров, и Иезо, наиболее северный и наименее интересный; суровый климат не позволил цивилизации утвердиться на нем достаточно прочно.

Когда-то эта страна была населена народом, исчезнувшим совершенно, и о котором мы ничего не знаем. Он оставил нам два-три памятника, весьма напоминающих старинные бретонские памятники, монументы Карнака и дольмены де-Лос-Мариа.

Инженеры, строившие здание морского арсенала в Сасебо, нашли в земле при прокладке кабеля или установке паровых помп (не помню точно) три или четыре каменные глыбы, к которым они отнесли весьма благоговейно (в Японии даже в наши дни относятся с уважением к древности).

И это все, что осталось от того народа. Он исчез бесследно.

За ним явилась другая раса; ее мы знаем лучше. Раса белая. То были ленивые, огромные, бородатые люди, напоминавшие русский тип, каким его обычно рисуют. Их называли «айно». В свое время они занимали все пространство Японии. Но современные японцы, придя с юга, постепенно оттеснили их с Киу-Сиу на Сикок, потом на Ниппон и, наконец, на Иезо. С этого момента, сквозь узоры легенд

и преданий, начинает просвечивать история. На первых порах она мало достоверна. На ней покоятся основы примитивной религии шинто.

Богиня солнца Аматерас спустилась на Японские острова, нашла страну прекрасной и осталась в ней навсегда. Ее брат Сусенго убил Минотавра (в Японии тоже был Минотавр, как и на Крите!). В хвосте Минотавра Сусенго нашел священную саблю. Согласно другим источникам, он нашел там же зеркало и боб. Этот боб не что иное, как символ сотворения мира путем соединения двух начал или двух полов... Тут заключена мистически основная мысль всех преданий Японии, основная и единственная.

Три священных предмета, — Сабля, Зеркало и Боб, — сохранили свое значение в веках. Однако, сабля, извлеченная из хвоста Дракона, исчезает в 1185 году, брошенная в море во время сражения. И в этом пункте легенда и история встречаются.

К этому времени относится первое японское стихотворение, дошедшее до нас. Говоря «этому времени», я ставлю себя в ложное положение, так как затрудняюсь определить его более точно!

Стихотворение, о котором идет речь, построено на игре слов «облако» и «стена», звучавших, вероятно, одинаково. Оно чрезвычайно характерно для старинной японской поэзии. В большинстве случаев эта поэзия символична; она изложена идеографическим письмом (китайское письмо, обратите внимание). Ко времени этих ранних поэтических опытов, у китайцев уже был Чеу-Кинг. Отсюда видно, как далека во времени Япония от Китая.

* * *

Итак, современные японцы пришли неизвестно откуда...

(Я полагаю, что они явились из Полинезии или вообще из Океании; ученые это оспаривают, но мне, понятно,

кажется, что правы не они, а я. Решайте сами!) Во всяком случае, они пришли на Киу-Сиу и на Сикок с юга. В VI веке пришельцы-японцы занимали только эти два острова, кстати, самые маленькие. Киу-Сиу, на котором Нагасаки, невелик, а Сикок еще меньше. Тогда же они столкнулись с «айно», длиннорылыми, гигантского роста людьми.

Японская легенда говорит, что в описываемую эпоху японцами управляли полубоги, — Тезеи, Геркулесы или что-то похожее. Легенда называет их «Kamis».

На первых порах война против «айно» не была слишком удачной. В конце концов победа одержана благодаря предательству, предательству, которое можно встретить в мифологии и ранней истории любого народа: заманили неприятельского вождя, женщина напоила его «саки» (рисовая водка), а потом убила во время танца или пока он спал. Юдифь и Олоферн, или первое, что вам вспомнится!

Рисовая водка «саки», как видите, уже существовала. Дело в том, что этот вид алкоголя, крепостью не превышающий европейского портвейна, был изобретен четыре тысячи лет тому назад китайским императором Иа-О, тем самым, который устроил каналы по великим рекам Гоанг-го и Ян-це. Таким образом, этот самый император Иа-О, сыгравший видную роль в истории Китая, приложил руку и к завоеванию японцами Японии, потому что, только опьяненный «саки», был убит главный их противник, великий вождь «айнов».

Устав от правления полубогов, японцы придумали себе императоров, «микадо». Эти последние рождались весьма регулярно от богини Аматерас. В силу того, что «микадо» того времени зачастую были очень молоды, им избирали помощника-руководителя, начальника войск, маршала или министра двора... Этот государственный муж назывался просто великим военачальником.

Затем, когда закончилось завоевание Хондо, то есть большого японского острова, «айно» были отброшены на Иезо, где они пребывают и по сей час.

Оставим их там и перейдем к истории.

Соседка Японии Азия выбросила по направлению к ее четырем небольшим островам полуостров, равный по величине половине Японии, — Корею. Естественно, что возникли трения между японцами и корейцами, подобно тому, как в XIV веке возникли трения между Францией и Англией из-за Шотландии.

Начались корейские войны, весьма опустошительные и продолжительные...

Началось взаимное истребление, а кончилось (как и всегда) тем, что оба народа узнали друг друга, завязали сношения и обменялись тысячами вещей, необходимых для обоюдного прогресса и счастья.

Я знаю одно забавное японское предание, восходящее к той эпохе, — «Kibi Daidzigne», что означает «человек, которого звали Киби». Этот Киби совершил множество путешествий в Китай, во время которых украл у китайцев три вещи, которыми владел этот древний народ и в которых нуждалась молодая Япония. (Предоставляю вам судить, насколько реальна была эта необходимость!).

Первая вещь была — календарь. Китайцы, обладавшие действительно обширными познаниями, делили, как и мы, год на двенадцать лунных месяцев и на триста шестьдесят пять солнечных дней. Киби были даны в Китае соответствующие разъяснения, и он воспринял их столь хорошо, что пришлось оставить его в плену: он обрел свободу только ценой выигранной партии в шахматы.

Вторая вещь была «Китцуне» («Kitsoune» значит лисица).

Не думайте, однако, что вся задача состояла в том, чтобы переселить парочку лисиц в новый свет, как то сделал Ной. Нет! «Китцуне», что привез с собой Киби, была в то же время воплощением древних китайских императриц и потому могла заколдовывать кого угодно, показывать тысячи волшебств, губительных или благоприятных.

С тех пор «Китцуне» покорили всю Японию и даже навязали ей своего бога, бога Инари. Существует не менее двух тысяч храмов, посвященных этому лисьему богу!

В зависимости от поворота хвоста «бога» (вправо или влево, на восток или на запад) путешественник выводит нужное ему заключение и всегда считается с мнением Инари.

К тому же Инари бог риса, то есть бог земледелия. Так что, если Япония наших дней является чудом хлебопашества, то этим она обязана, быть может, Киби Дандцинью.

Так или иначе, но «Китцуне» была завезена в Японию Киби. Вместе с нею Киби вывез из Китая черную магию и волшебство.

Спешу сказать, что и от того, и от другого в настоящее время осталось лишь одно воспоминание. Но в течение довольно долгого времени Япония могла не завидовать Западной Европе ни в отношении суеверий, ни бросания жребиев, ни прочих мракобесий.

Мне вспоминается прочитанный где-то японский рассказ, в котором говорится о двух верных псах, удержавших за полы кимоно их несчастного хозяина, который хотел ступить на зарытое на его пути баранье сердце, начиненное булавами: ступи он, и смерть была бы неизбежной, согласно кодексу всемирного колдовства! Как видите, японцы умели готовить сердце с начинкой из булавок не хуже любовью итальянской, испанской или французской колдуньи...

Но Киби привез из Китая еще одну вещь, более драгоценную, хотя она и не значится в легендарном списке, — письменность.

В Японии с самого начала было два письма, — китайское и корейское, вместе они дали письмо японское. Процесс образования крайне любопытен. Как я уже сообщал, китайское письмо аналогично египетскому, это письмо идеографическое, иероглифическое. А письмо корейское, подобно нашему западному, фонетично. Япония приняла оба, и в то время, как ученые пользовались китайским письмом, обыкновенные смертные довольствовались корейским.

Я лично знаю едва ли более десяти японских слов, но знаком с китайским языком; я даже умею с грехом пополам писать по-китайски. И что же? Благодаря знанию китайского письма, я имею возможность объясняться с японцами; однако не могу читать японских газет, потому что они

пользуются письмом фонетическим, ведущим начало от т. наз. «катакона» или «хиракона», принятых японцами, дабы избежать трудностей старого китайского письма...

Японцы, по существу, просто пираты вроде наших норманнов; они явились откуда-то из-за моря, чтобы открыть и завоевать прекрасную и богатую страну. В то отдаленное время они были еще вполне варварами. Прекрасная и богатая страна, покоренная ими, населена была тоже варварами, но она лежала по соседству с обширной цивилизованной страной, Китаем, и другой — маленькой, полуцивилизованной Кореей. Ничего нет удивительного в том, что вся японская культура заимствована из Китая и частично из Кореи.

Заимствование началось в VI веке, и если через четыреста или пятьсот лет мы видим в Японии высокую культуру, то ею она обязана всецело Китаю.

Япония VI века имела уже, как я говорил, своих императоров и «шогунов». Но ни те, ни другие не могли еще похвастать полнотой власти. Последняя находилась в руках нескольких родов, «кланов». Эти кланы, вассалы своих князей, но вассалы непокорные, объединились лет через триста и образовали две враждебных конфедерации, которые стали под знамена двух могущественных родов, — рода Таиров и рода Минамотов. Борьба их займет всю японскую историю на протяжении почти трехсот лет.

«Таира» — значит «земля», а «Минамото» — «источник».

По происхождению Таиры и Минамоты ничем не отличались друг от друга (оба семейства вели свое начало от «микадо», — Таиры от пятидесятого, а Минамоты от пятидесяти шестого). Мало-помалу, заключая союзы, они становятся весьма могущественными. Их история напоминает все то, что имело место во Франции во времена Арманьяков и Бургиньонов, или в Англии, во времена Лейчестеров и Сассексов, или в Шотландии, во времена Лесли и Сейтонов, Гамильтонов и Дугласов и т. д. Являясь выразителями феодальной мощи нескольких провинций, они борются за ге-

гемонию. И долгое время мы наблюдаем на Дальнем Востоке картину, столь знакомую нам по нашему Западу.

* * *

Первая война феодалов началась в Японии в 939 году. Рыцарский кодекс, установленный у нас вскоре после эпохи Карла Великого, то есть приблизительно в то же время, в Японии еще не был выдуман, что случилось там на триста лет позже. В описываемое же время в Японии мы видели воинов и писцов, ученых и людей меча; но воины нередко слагают поэмы, а ученые облачаются в доспехи. Ежесекундно, к тому же, угрожает анархия. Нередко «микадо», коронованные в возрасте трех, четырех лет, к семи, восьми годам уже отрекались от престола... и совершалось это среди всевозможных интриг, как нельзя более запутанных и темных. Власть императора в эту эпоху была только номинальной.

Несмотря на подобное положение вещей, на отсутствие какого-либо твердого государственного порядка, к началу XI века Япония стоит уже на довольно высокой ступени цивилизации.

Война с Кореей, с одной стороны, и все то, что заимствовала Япония от Китая, с другой, оказали сильнейшее влияние на японское общество. В 1153 году (важнейшая дата японской истории, т. к. после анархии XI века, первая половина XII века ознаменовалась установлением длительного мира) войны возобновились, но за те пятьдесят лет, что им предшествовали, японская культура поднялась так высоко, что ей смело могла завидовать Европа. Приблизительно в этот же период в Японии установлено было «положение о рыцарстве»; появился т. наз. «ниппонский» кодекс — «Бушидо».

* * *

Мы остановились на роковом 1153 годе. В этом году, как говорит легенда, явился «ну-и» и был убит. «Ну-и» — фантастический зверь с головой обезьяны и телом тигра — взобрался на крышу двора и был убит из лука. (Я рассказываю все это, чтобы показать, что в те времена легенда и история были еще неотделимы).

Этот случай, как утверждает легенда, являлся предзнаменованием ужасных времен. И эти времена не замедлили наступить. Начались бесконечные гражданские войны.

Но прежде, чем рассказать о них, я хочу дать краткий обзор событий того же периода на всем земном шаре. Примите при этом к сведению, что Япония XII века была значительно культурнее Европы той же эпохи.

Итак, 1153 — год начала великих гражданских войн, 1185 — конец этих войн. Битва при Симоносеки отдала всю власть в руки «шогунов» и положила начало процветанию Японии.

* * *

Что же, однако, происходило в это время в Европе? — Войны, войны и еще раз войны!

Никакой связи между Европой и Дальним Востоком, разумеется, не было. Мадера не была еще открыта, это произошло на триста лет позже. Христофор Колумб еще не был в Америке. Еще в точности не было известно, кругла ли земля... И если бы кому-нибудь вздумалось отправиться в Японию, то он встретил бы на своем пути немало затруднений.

Но забудем на минуту об этих препятствиях, о том, что компас еще не существует, и вообразим, что, пройдя неведомыми морями, побывав в волшебных и сказочных странах, мы обогнули материк Азии и приближаемся к Японии.

Что же нашли бы мы в этой неведомой Японии, Японии XII века? Вероятно, то же, что находим и видим теперь: прекрасные зеленеющие острова, высоко поднявшие-

ся над морем. На первых порах нам сообщили бы, вероятно, что у микадо какие-то осложнения с начальниками войск, Таирами или Минамотами. Но мы иностранцы и, в качестве таковых, нас ввели бы в круг японской жизни (не без участия благодетельной феи, так как доступ в эту сверх-замкнутую страну был почти невозможен). Эта жизнь поразила бы нас немало; мы встретили бы людей более культурных, более образованных и более утонченных, чем те, которых покинули на Западе.

Но оставим область предположений и фантазий и посмотрим, что говорят документы.

Одна великосветская японская дама в конце XI века написала чрезвычайно любопытную книгу, озаглавив ее «Заметки и мысли на думке»^{*}.

«Думка» японской дамы, как вам известно, вещь твердая. Она имеет форму куба и сделана из дерева, обтянутого кожей. Главнейшее достоинство ее то, что она не портит прическу.

Еще лучше употреблять для этой цели пачку хорошо спрессованной бумаги. Дама, о которой идет речь, получила пачку такой бумаги в подарок от императрицы и на ней, в бессонные ночи, делала свои заметки о ниппонском дворе и о событиях придворной жизни.

Вот отрывок из этих «Заметок»:

На прозрачной бумаге раздвигающихся дверей в уголке «Дворца чистоты и прохлады» нарисованы чудовища с бесконечно длинными руками и ногами, что живут в глубинах океана. Когда открыта приемная императрицы, эти рисунки можно видеть, и мы нередко забавляемся, разглядывая их.

Однажды мы занимались этим, стоя между вазами зеленатового фарфора, из которых ветви цветущих вишен спустились до самых перил террасы. Около полудня прибыл «Даинагон» (старший брат императрицы). На нем был легкий хитон цвета лепестков вишневого дерева и широкие темно-ли-

^{*} Имеются в виду «Записки у изголовья» Сей Сенагон.

ловые панталоны; на белой нижней рубашке был виден темно-малиновый узор. В покое находился сам император, и потому Даинагон заговорил с ним, стоя в дверях, о каких-то официальных документах. В глубине за занавеской стояли придворные дамы в просторных одеждах без рукавов, цвета вишни, глициний, керри и других модных цветов. Обед был подан в покоях императрицы.

Послышались шаги слуг, и шамбелан провозгласил:

«Тише!»

Небо было прекрасно.

Когда принесли все блюда, шамбелан объявил, что обед подан.

Император в сопровождении Даинагона прошел средними дверями. Императрица, раскрыв веер, встретила императора и пригласила сесть. Она была так хороша, что все присутствовавшие были поражены. Даинагон при виде подобной красоты пропел:

Года и дни
Уходят беспрерывно
Вершина Миморо
Останется навеки.

Я нашла, что это весьма кстати, и пожелала в душе, чтобы такое положение вещей длилось тысячи лет.

Не успели дамы, служившие за столом, позвать слуг, как император прошел в покои императрицы и сказал:

— Налейте чернил в чернильницу!

Я поспешила исполнить его желание. Он сложил лист белой бумаги и сказал:

— Напишите сейчас же что-нибудь, что подскажет вам память!

— Как быть? — спросила я Даинагона.

— Пишите скорей и подавайте! Без лишних слов!

И, протягивая чернильницу, добавил:

— Скорей, скорей! Не думая! Что-нибудь!

Он торопил нас.

— О! — подумали придворные дамы, — зачем приказывают нам это?

Они взволновались и покраснели. Наспех писали они стихи о весне, о душе цветов... потом протянули и мне бумагу.

— Теперь ваш черед!

Я написала:

«Проходят годы, я стареюсь, но, когда я смотрю на князя, тяжелые думы покидают меня».

* * *

Нельзя не согласиться с тем, что это весьма милое описание придворной жизни. Но вот образец литературы иного рода, — автор, по-видимому, видевший и испытывавший на свете многое, спокойно классифицирует всевозможные жизненные явления, подразделяя их на хорошие, дурные, очаровательные, отвратительные, утомительные и т. д. ...

Обратимся, однако, к тексту.

Явления утомляющие:

- День воздержания,
- Дела, которые длятся несколько дней.
- Долгое пребывание в храме.

Явления отвратительные:

— Посетитель, который занимает вас длинными разговорами, когда вам некогда. Если это ваш родственник, то вы можете его выпроводить, сказав: «Позже»! Но, если дело идет о человеке, с которым приходится стесняться, то это в высшей степени отвратительно.

— В то время, как вы растираете тушь на камне чернильницы, вам попадается волос. Или, в палочке туши находится небольшой камешек, который начинает скрипеть «взжи, взжи»! Ужас!

— Завидовать всем на свете; быть недовольным своим званием; осуждать других, — все это одинаково отвратительно!

— Ребенок, который начинает кричать, как раз в тот момент, когда хочешь послушать что-нибудь. Вот наказание!

— Собака, которая лает на кого-нибудь, кто пришел по-видать вас тайно. Так, кажется, и убил бы эту собаку!

— Человек, которого спрятали в шкаф и который начинает вдруг храпеть!

— Очень хочется спать. Ложишься. Комар начинает летать у самого лица, давая знать о своем присутствии тончайшим голосом. Шум его крылышек больше, чем его тело. Вещь весьма отвратительная!

— Вы рассказываете нечто о минувших временах. Кто-нибудь, прицепившись к незначительной известной ему подробности, прерывает вас и начинает опровергать все, что вами было рассказано. Это поистине отвратительно.

— Мышь, которая шныряет всюду! Весьма отвратительно.

— Мужчина, с которым вы в близких отношениях, начинает расхваливать женщину, которую он знал когда-то; пусть это дело прошлое, но тем не менее это отвратительно! Но еще хуже, если имеется в виду новая интрига!... Можно себе представить, не так ли?!

Вещи, от которых бросает в дрожь:

— Воробьи, кормящие птенцов.

— Лечь спать одной в комнате, где курится благовонная смола.

— Мыть волосы, заняться своим туалетом, облечься в благоухающие одежды. Даже тогда, когда вас никто не видит, не вдыхает распространяемый вами аромат, не заставляет тревожно биться ваше сердце, — даже тогда это очень волнует.

— Ночь, когда ждешь кого-нибудь... ливень, шумы и шорохи, дыхание ветра... все это волнует!

Вещи, рождающие нежную память о прошлом:

— В часы досуга, когда на дворе дождь, найти письма человека, которого вы любили когда то.

— Лунная ночь.

Вещи мало успокоительные:

— Когда, не зная еще сердца и помыслов нового слуги, вы послали его к кому-нибудь с вещами, имеющими ценность.

Редкие явления:

— Невестка, которую свекровь любит.

— Кто-либо, у кого нет ни мании, ни недуга, кто обладает всеми как физическими, так и духовными качествами; короче, кто-либо, у кого нет недостатков.

Вещи, заставляющие беспокоиться:

— Например... новогодние повышения по службе.

* * *

Так приблизительно изобразила жизнь эта японочка, жившая девятьсот лет тому назад.

Я уже говорил о том, как она получила в подарок от императрицы ворох бумаги, на которой она и оставила грядущим поколениям свои, заметки.

В конце своей книги она сама повествует об этом событии. Рассказ этот очень трогателен.

Темнеет, я не могу больше писать, да и кисточка моя истрепалась... Итак, пора кончать эти заметки. В них все то, что я видела своими глазами, все, о чем думала, все, что затаила в сердце в часы досуга, в часы, что провела я одна в моей комнате.

Порою в них высказывались мною резкие, быть может, по мнению других суждения, и потому я сочла сначала нужным держать их в секрете. Но теперь все стало известным! И

вот я не могу удержаться от слез...

Однажды императрица, получив от «Наи-даи-гимна» большую пачку бумаги, спросила меня:

— Что же бы нам изобразить на ней?

Император нашел, что было бы хорошо переписать сборник рассказов (Шики). Но мне хотелось сделать из этой бумаги себе думку, и потому императрица сказала:

— Ну что ж! берите ее! — и она отдала мне бумагу.

С тех пор я записывала все, что мне приходило в голову, все то, что казалось мне прекрасным в мире, все, что поражало меня в поступках людей. Я говорила о поэзии, о деревьях, травах, о птицах и насекомых...

Пусть критикуют меня, пусть скажут:

«Это еще хуже, чем мы думали! Посредственность ее дарования так и бросается в глаза!»

Я лично весьма скромного мнения о моих записках и, по сравнению с произведениями других, считаю их более чем обыкновенными. Однако, окружающие говорят, что я пишу прекрасно, Странно! Но, вероятно, они правы, — то, что не нравится большинству, должно быть хорошим, и обратно. И все же мне жаль, что мои записки увидели свет».

* * *

Это обычное сожаление всех художников. Во всяком случае, она прелестно изобразила общество того времени, и страницы, посвященные ему, дышат жизнью и до сих пор не утратили интереса.

Остается только пожалеть о том, что гражданские войны XII века остановили на время расцвет искусств и развитие умственной жизни Японии. Надо сознаться, что те же войны дали нам страницы одной из самых увлекательных историй феодализма и рыцарства.

Период от XII до XVII века слишком обширен, чтобы говорить о нем подробнее. Два момента обретают в нем

наибольшее значение, — первый в XII, второй в XVI веке. После некоторых колебаний, я решаю остановиться на первом, и рассказать о нем, излагая целый ряд отдельных эпизодов.

Я уже говорил, что в 1153 году фантастический зверь «нуи» появился на крыше императорского дворца и был убит стрелой, что, разумеется, послужило предзнаменованием великих несчастий. Вот эти беды: два семейства — Таиры и Минамоты — вступают в борьбу. У них два предводителя. Князь Таиров носит имя «Киомори». Это одно из величайших имен японской истории.

Князь Минамотов зовется Иошитомо — это довольно незначительная и бледная личность, хотя весьма добродетельная, как говорит легенда.

Оба князя сохраняли верность микадо, малолетнему микадо, значение которого было более чем скромно, и само имя которого не дошло до нас. Внезапно против маленького микадо вспыхивает восстание, во главе которого становятся два претендующих на власть мужа, — отец Иошитомо и дядя Киомори. Императорский двор призывает на помощь крупнейших феодалов. Киомори и Иошитомо, объединившись, идут на помощь, умиряют восставших и берут их в плен. Но тут из дворца приходит приказ убить главарей восстания, — отца и дядю могучих победителей.

Вероломный двор, сверх того, приказал Киомори лично привести в исполнение приговор над дядей, а Иошитомо над его отцом, дабы еще более убедиться в их верности.

Киомори, ловкий политик и честолюбец, не колеблясь нимало, убивает своего дядю.

Но Иошитомо пробует уклониться. Тогда Киомори пользуется слабостью своего противника и когда, спустя некоторое время, между ними возгорается вражда, он, прославив себя актом геройской верности, «брутовским» жестом, — собирает вокруг себя почти всю Японию, в трех битвах разбивает армию Иошитомо и провозглашает себя великим правителем двора. Титул, присвоенный им себе, в точности неизвестен. Но так или иначе, в продолжение тридцати лет Япония остается на положении его собственности. В

течение тридцати лет он фактически является императором. По его приказу избираются и слагают с себя императорское достоинство микадо и заменяются его ставленниками. В конце концов, в год его смерти, в 1181 году, на престол возводится его пасынок, — микадо Антоко. Вначале род Минамотов пытался бороться с могущественным Таиrom, но был побежден и уничтожен. Умирая, Иошитомо оставил нескольких наследников. Почти все были убиты. О Киомори говорили впоследствии, что он бывал попеременно то милосерд, то безжалостен, но всегда невпопад. Действительно, он казнил массу людей, которых мог просто отстранить, и отстранил многих из тех, что должен был казнить; в числе других он казнил двух мальчиков из рода своих противников, — пятнадцатилетнего подростка по имени Иоритомо и малютку Иошицне, которому едва исполнилось четыре года, когда умер его отец. Первого он запер в монастырь, а второго отправил в изгнание. Впоследствии они напомнили о себе, и напомнили ужасно.

Но время не ждет. Могущественные Таиры предаются в Киото довольно сомнительным забавам, — поджигают кварталы, не отвечающие их вкусам, избивают всех «джинерикш» и извозчиков... Кстати, в средние века, на Западе облеченные слишком большой властью лица поступали почти так же...

У Киомори был сын, которого в Японии теперь чтут, как полу-бога, прекрасный человек, справедливый и вместе с тем энергичный и ловкий, — Синьемори. Он, сколько мог, противился злу, окружавшему его. К несчастью, этот сын, сын старший, а стало быть, наследник, умер до своего вступления на престол и не успел оказать благотворного влияния.

Чтобы дать приблизительное представление о нравах той эпохи, стоит рассказать один довольно комичный случай, имевший место в Киото в эпоху расцвета власти Киомори. Один из его родственников, по имени Норота Томе-нори, натворил столько бедствий по всей столице, что разгневанный Киомори отправил его в изгнание. Норота был настолько благоразумным и осторожным человеком, что

не захотел быть в контрах со своим всемогущим родственником. Он не замедлил повиноваться, то есть дал клятву уехать на другой же день; но, дабы провести подобающим образом свой последний вечер, он просил разрешения устроить великолепный ужин пятистам самым близким своим друзьям, что и было ему разрешено.

Во время ужина один из этих друзей, вероятно, в достаточной степени охмелевший, приблизился к Нороте и сказал:

— Ты человек безупречный! После тебя никто не достоин заступить твоё место. И раз ты покидаешь город, я не хочу в нём оставаться! По крайней мере в том виде, каким ты знал меня: с двумя ушами.

Он тут же отрезал себе одно ухо и подал его Нороте... Тогда сосед его, растроганный поступком, воскликнул в свою очередь:

— Я не останусь в долгу! Вот мой нос!

И он отсек себе нос. Их примеру последовали другие, и каждый отрезал себе кто палец, кто руку, кто ногу, и не знаю, что ещё... зала пиршества залита была кровью...

В припадке иступления Норота воскликнул тогда:

— Что до меня, то я предпочитаю умереть! Вы слишком верные друзья, я не хочу жить, лишившись вашего общества!

И он сделал себе хара-кири... Остальные последовали его примеру. Обезумевшие слуги подожгли дом... пламя охватило весь квартал, а потом и весь город...

От этого рассказа веет чудовищной фантазией, и тем не менее, это факт исторический и вполне точный.

И никто в городе не посмел даже жаловаться: поджигатели были из рода диктатора, что же с ними сделаешь? Построились заново и только!

Легко себе представить, что в 1181 году, когда Киомори умер, вся Япония вздохнула облегченно. В последние дни своего правления, этот всемогущий диктатор, — показавший себя великим человеком, правивший мудро и энергично, издавший твердые законы, установивший во всех провинциях строгий порядок и такое же правосудие, — короче,

обеспечивший стране крайнюю степень благоденствия и процветания, — в последние дни Киомори принес публичное покаяние во всех жестокостях, к которым вынудило его суровое время. Он сбрил волосы на голове (жест, имевший в Японии тоже значение, что и в Европе) и сделался монахом, подобно Карлу V, не слагая, однако, с себя власти...

Проводя время в молитвах, постах и воздержании, он, тем не менее, правил железной рукой.

Можно было бы привести немало сравнений. Киомори в истории Японии приблизительно тоже, что Карл Пятый в истории Испании или, и это пожалуй еще точнее, то же, что Марий в римской истории.

Французский инженер Бертен, коллекционер японских художественных вещей, писал в одном из своих сочинений:

«Всякий раз, когда вы на японском эстампе видите изображение человека с властным взором, бритой головой, в одеянии бонзы, вы можете быть уверены, что это изображение Киомори. Действительно, он оставил столь глубокий след в истории Японии, что до сих пор японское изобразительное искусство не знает иной модели, как этого знаменитого правителя из рода Таиров».

Я упоминал выше, что Киомори имел неосторожность пощадить двух сыновей своего старинного врага Йошито-мо: Йошицне и Иоритомо.

С именем Иоритомо связан эпитет, который дала ему японская история, — эпитет Грозный. Этим все или почти все сказано. Что же касается Йошицне, то это японский Баярд. Его приключения стоят двенадцати героических романов!.. Киомори сделал его бонзой, когда он был еще ребенком. Но уже в восемь лет он имел немало любовных историй, а нескольких соперников убил на дуэли. Как видите, этот смелый мальчик начал достаточно рано!

Он находился в тайных сношениях со своим старшим братом Иоритомо, который подготовлял втихомолку восстание в провинции, — месте своего изгнания.

Прошла годы; двенадцать, а может и тринадцать лет... Йошицне бежал из монастыря, чтобы соединиться с бра-

том. Однажды, в пути, ему пришлось переправиться через реку. На реке был мост, но мост этот охранял знаменитый разбойник по имени Беньюки. То был великан «с двумя саблями», останавливавший и грабивший путешественников... Иошицне, однако, не испугался нимало, и когда разбойник с двумя саблями вздумал его остановить, он сразился с ним, но действовал только кончиком своего веера... Этого оказалось вполне достаточно, — герой Иошицне победил, обезоружил и сделал рабом гиганта Беньюки; и Беньюки с того момента стал сопровождать повсюду своего победителя. Он оставался при нем до самой смерти и был ему самым верным «керай» — оруженосцем.

Итак — Иошицне соединился с Иоритомо. Они собрали жалкие остатки Минамотов и во главе их подняли знамя восстания.

Битвы начались еще при жизни Киомори; и, умирая, старый диктатор просил, чтобы над гробом его не молились и не совершали похоронных обрядов, но чтобы положили на крышку голову его врага Иоритомо.

Но положить голову Иоритомо на этот гроб не пришлось! То он, напротив, положил на бесчисленные гроба головы всех своих противников! Киомори прощал иногда, но Иоритомо не ведал прощенья!

Не успел Киомори умереть, как Иоритомо стал уже во главе могучей армии, и выигрывал сражение за сражением — главным образом с помощью своего брата Иошицне, — ниппонского Баярда, победителя гигантов. Подвиги Иошицне насчитываются тысячами, — форсирования горных проходов, взятие замков, разрушенные города, уничтоженные армии, — все это для него было забавой!

В конце концов Минамоты одержали верх и начали теснить противника из Токио до самой южной части острова Ниппона, до берегов пролива Симоносеки (пролив Симоносеки отделяет остров Киу-Сиу от Ниппона; в японской истории он сыграл значительную роль).

Здесь разыгралось бесчисленное множество битв. Я расскажу об одной, самой кровопролитной. Ее называют бит-

вой при Дан-но-ура, — по имени небольшой бухточки, выходящей прямо в пролив.

Преследуемые Минамотами Таиры вынуждены были искать спасения на своих кораблях. Кораблей было около пятисот. Минамоты бросились за ними в погоню с флотом в семьсот парусов. Завязалось жестокое морское сражение, не хуже Акциума или Лепанто. Иошицне показал чудеса храбрости. Однако, один из его противников, Таир по имени Иорицне (оба имени близки по созвучью), напал на него с такой яростью, что Иошицне в первый раз в жизни должен был искать спасения в бегстве и прыгнуть, как говорит предание, через семь кораблей, стоявших борт о борт.

В конечном итоге Таиры были разбиты. С ними вместе на одном из судов находился император, тот самый пасынок Киомори, о котором была уже речь. Этот семилетний император, видя плачевный исход сражения, бросился в море, не колеблясь ни минуты, а его двор последовал за ним. Все погибли.

В довершение несчастья, император похоронил вместе с собой в пучине священную саблю, которую некогда нашел в хвосте дракона один из его предков. Так и покоится она до сих пор в глубине вод пролива, вместе с остальными знаками священной власти, унаследованной от самой Аматерас, — с волшебным зеркалом и символическим бобом, бобом мифологической философии Кореи.

Покончив с Таирами, грозный Иоритомо забрал всю власть в свои руки и положил начало шогунату, то есть абсолютной власти правителя дворца, власти наследственной, соединенной, кроме того, с высшим командованием всеми военными силами Японии. Мир, последовавший за этим, длился не слишком долго, — всего одиннадцать лет. Как только умер Иоритомо, все его дело рухнуло, как рухнуло в свое время дело Киомори, едва он закрыл глаза; снова настало время анархии. Но шогунат удержался, и уничтожен был лишь на семьсот лет позже.

Эти гражданские войны Японии XII века близко напоминают все феодальные войны Европы. А XII век в Японии может быть сравниваем с нашими XIV, XV и XVI.

В XII веке власть микадо уничтожена окончательно. Когда в то же приблизительно время, около 1248-го года, китайские татары, манчжуры, вторглись в Японию под предводительством Ку-билай-хана, того самого, о котором упоминает Марко Поло, одни лишь шогуны оказали им сопротивление и тем спасли родину. У микадо не осталось и призрака власти.

И только в лабиринте бесчисленных зал дворца в Киото продолжало жить идолоподобное существо, почти всегда очень юное и всегда окруженное тысячами почестей. Но по прошествии нескольких лет случалось, что этому существу предписывалось внезапно исчезнуть. Тогда оно исчезало, не пробуя даже сопротивляться, и на его место водворялось другое. Вот что случилось с микадо, сынами солнечной богини!

В противоположность им, шогуны пользуются неограниченной властью, только для вида, по собственному желанию, подчиняясь императорам. Порою, однако, абсолютная власть ускользает из их рук. Так, например, в XVI веке достаточно было гения одного человека, чтобы прежнее положение микадо было восстановлено как по волшебству. В 1320 или 1330 году некто Масасинье (в японской истории это имя, которое нужно запомнить), простой самурай, проникся внезапной нежностью к своим подлинным владыкам — «микадо» — и объявил войну шогунам того времени. Он выиграл несколько грандиозных сражений, посредством военных хитростей, весьма напоминающих уловки нашего дю Гесклена, когда он делал вид, что обращается в бегство, с целью увлечь врага к преследованию. Когда последнее удавалось, то Масасинье, подобно Гесклену, внезапно оборачивался и опрокидывал потерявшие строй массы неприятеля.

Ничто не ново под луной, и прием Масасинье и дю Гесклена повторен не так давно на Марне...

В продолжение двадцати лет Масасинье держал под угрозой власти существование шогунов и едва не вернул микадо их прежнее всемогущество. Если в конце концов это ему не удалось, и сам он погиб в сражении при Минатогава, — то только оттого, что повиновался приказанию микадо, которого он из ничтожества сделал подлинным князем и который кончил тем, что стал завистливым и рискнул противопоставить свою тактику вновь испеченного князя тактике поседевшего в боях генерала.

Масасинье вынужден был дать сражение в самых неблагоприятных условиях. Он повиновался, как стоик, получил одиннадцать ран и, когда убедился, что все потеряно, спокойно отступил на вершину небольшого холма вместе с двадцатью из храбрейших соратников. С выражением исключительной почтительности враги предложили ему сдаться на самых почетных условиях. На эту галантность он ответил не менее галантно, а затем, отказавшись капитулировать, вскрыл себе живот, равно как и все его соратники. В Японии XIV века не принято было сдаваться. Впрочем, так же, как и в Японии XX века, — вспомните только войну 1904 года.

Именно в эту эпоху, — я хочу сказать, в XIV веке, — в эпоху стольких войн и блестящих сражений, сложился японский рыцарский кодекс «Бушидо». «Бушидо» весьма напоминает наши кодексы времен феодализма, но с примесью чего-то еще более твердого, решительного, безотносительного и в то же время более культурного.

В нем отведено много места милосердию, поэзии — но еще больше места смерти. Никакие условия сдачи не считаются приемлемыми, и каждое отступление искупается добровольным самоубийством. В Японии никогда не существовало смертной казни для воинов, — достаточно слова, и виновный убивает себя, не медля ни минуты.

Что же до жен и вдов, то для них, как и на Западе, существует монастырь, куда они могут уйти — «чтобы носить власяницу и честно умереть».

Я только что рассказывал историю Иоритомо и Иошицне. После многих побед Иошицне разонравился брату,

бежал, его преследовали, настигли, и он покончил с собой. Преследование длилось многие годы; все эти годы Йошицне провел в обществе очаровательной подруги, которая танцевала для него при свете луны во время стоянок, на лужайках дремучего леса, через который шли беглецы. Но пробил час, Йошицне был настигнут. Перед смертью он пожелал обеспечить безопасность нежной Сидцуки, — так звали красавицу. Что же он сделал? Ничего больше, как отправил ее с полным доверием к победителю, грозному Иоритомо. Ведь Иоритомо, как бы ужасен он ни был, не смел поступить не по «Бушидо». Он так и поступил. С великими почестями он принял Сидцуку и предоставил ей свободу уйти в монастырь, где она и окончила свои дни.

Этот «кодекс чести» с XIII века не менялся и господствует в Японии и до наших дней.

* * *

После гибели Масасинье микадо снова утеряли всякое значение. У власти стал новый род шогунов, Языкады, благополучно правившие в течение ста лет. Затем снова анархия. Вообще, начиная с этого момента, японская история очень однообразна, войны и перемирия, перемирия и войны, и анархия из века в век.

Так тянется вплоть до XVI столетия, когда положение вещей таково, что опасность угрожает японскому национальному единству.

Три человека спасли в то время Японию и положили начало новому периоду истории. Имена этих трех героев, — Набунага, Таико-Сама и Иенас.

Эти три шогуна победоносно восстановили национальное единство. Благодаря им, Япония вступила вновь в период величия и блеска. Об этом свидетельствовали величественные памятники и свидетельствуют еще и посейчас... Но крайне интересно то, что период расцвета Японии

XVI века тождествен с периодом ее процветания в XII веке, — прогресса незаметно.

В XII и даже в XI веке мы видели государство, значительно опередившее Европу, — в XVI положение другое. И когда святой Франциск-Ксавье явился в Японию, пытаясь обратить японцев в христианство, у него уже не было впечатления, что он сталкивается с культурой высшей, нежели культура Запада. Даже через несколько лет, когда Иенас после многих избиений окончательно изгнал христиан, духовных сынов Франциска, Япония осталась все так же неподвижна. Европа же в то время шла вперед...

* * *

Небольшое отступление. Двумя столетиями позже, в XIX веке, когда после окончательной реставрации власти микадо в Японии родился дух модернизма, японец по имени Сайго поднял знамя восстания. Во имя чего, однако, восстал он? Во имя прошлого!

Сайго требовал возврата к прошлому, требовал уничтожения новшеств и восстановления в Японии античного строя, который мог бы длиться тысячелетия, не меняясь ни на йоту!

Итак, в эту эпоху, как и во все предшествовавшие ей, Япония стремилась к одному, — остаться в том же положении, вне прогресса, вне каких-либо перемен.

Ибо, как утверждал Сайго и его приверженцы, всякие перемены и прогресс ведут человечество к несчастью. Может быть, это и так... Но косность развивает в человечестве слабость. И на этот раз не «может быть», а несомненно.

Короче сказать, в 1854 году Япония все еще была страной весьма счастливой, но очень слабой, —такой же, какую была за пятьсот лет до того. Эта страна жила обособленно и замкнуто и не желала знать иностранцев. Одни только португальцы и голландцы вели кое-какую торговлю с Японией, но торговлю ничтожную. Шогуны отвели им неболь-

шой островок в бухте Нагасаки, где солдаты охраняли этих «презренных иноземцев». Огородившись стенами, замкнув в своем одиночестве, Япония полагала себя недоступной чужому любопытству, а тем более вмешательству...

Внезапно в том же 1854 году у берегов Японии показались огромные, черные с белым, военные корабли. На корме развевался флаг, где по синему полю рассеяны были звезды, — звезды Северо-Американских Соединенных Штатов.

Где-то что-то случилось... Какой-то корабль потерпел крушение у японских берегов... Пострадали какие-то американские граждане. И Америка выступила. Япония пожалала плечами, и только...

Но вот по знаку командующего эскадрой по Когошиму открывают огонь. Снаряды ложатся один за другим... Ужас... Порох! Но Япония с ним почти не знакома. В Японии порох служил лишь для приготовления фейерверков... А снаряды все ложатся и ложатся...

К чему сопротивление? Японцы сдались. Шогун заключил мир...

Но какой? — Верх бесчестия!.. Никаких условий, на милость победителя.

И вот внезапно Япония вынуждена признать чье-то владычество...

Но не подумайте, что дело идет о народе, который способен когда-либо или при каких-либо обстоятельствах перенести подобное унижение: признать чье-либо владычество, будь то могущественнейший из народов, или даже сверхчеловечество! До самого рокового момента Япония сохранила неприкосновенным свой кодекс чести и военной доблести. Быть побежденной, даже не сражаясь? О, никогда! — Реакция немедленная и страшная! От 1854 до 1868, за *четырнадцать лет*, перевернут был весь уклад японской жизни, свергнут шогунат, восстановлены микадо, — сделано то, чего нельзя было, казалось, достичь и за тысячу лет.

Народ, дремавший, неподвижный, погрязший в феодальной рутине в продолжение десяти веков, внезапно стал

самым современным из народов! Почему? Потому, что *этот народ проглотил обиду, но не испил из чаши мести**.

Япония жаждала мести, и ей хватило четверти века, чтобы стать способной отомстить. С 1854 года по 1922, через 1878, 1894, 1904 и 1914, Япония знает одни победы. Чтобы победить, она сделалась совершенной нацией и останется таковой навсегда.

* Взято из подлинных nipпонских документов (*Прим. авт.*).

VI

ЯПОНИЯ НАШИХ ДНЕЙ

Несколько слов о Японии наших дней.

После того, как волшебная палочка коснулась Японии в 1868 году, после того переворота, который японцы называют своим «великим переворотом», — Япония изменилась мало.

Однако, посмотрим...

Для всех уроженцев Запада, живущих на Дальнем Востоке, Япония была и будет обетованной землей. Причиной тому ее климат. В то время как в Китае климат зачастую нездоровый, в Японии настоящая зима, настоящая весна и такие же лето и осень. Совсем, как у нас. Там дивные цветы и замечательные фрукты. И там всюду идеальная чистота. Даже толпа под знойным солнцем, в испарине, пахнет геранью. Можете себе представить, до чего это приятно после грязи и вони Китая!

Японцы самый чистоплотный из всех народов, — все они, старые, молодые и дети, не исключая крестьян и чернорабочих, ежедневно в пять часов вечера принимают горячую ванну. Этого Европа, увы, еще не знает!

Когда я прибыл в Японию, то почти не знал японцев, так как в моих бесконечных скитаниях я встречал великое множество китайцев и мало, очень мало японцев. Обратное, — я видел почти всюду японок и мало, очень мало китайцев. Да, Китай действительно занимается массовым экспортом своих сынов, — кули, слуги, матросы, кельнеры и особенно торговцы десятками тысяч расползаются из Китая по всему свету. Япония же вывозит, вернее вывозила, исключительно своих дочерей... За последние годы положение, кажется, изменилось. На свете все меняется! Но так или иначе, эти японочки были очень милы, миловидны, тонко воспитаны, грациозны и могли внушить к их родине самые лучшие чувства.

Я много беседовал с ними и даже вел переписку, и таким образом имел довольно точное представление о Японии к тому времени, когда мне пришлось посетить эту страну. Я прибыл туда в сентябре, в полдень ясного и теплого дня, и этого дня никогда не забуду.

Почти все берега Китая казались мне низкими и мрачными. На много сот километров кругом море было желтое, мутное и грязное, — громадные реки впадают здесь в него и несут ил, песок и всякие остатки. По берегам никаких возвышенностей, кроме как, в виде исключения, в Гонконге. Все безнадежно плоско, болотисто или песчано.

Тем неожиданней и приятней картина прибытия в Нагасаки: кажется, что гигантские букеты зелени поднимаются прямо из моря; под ними отвесные скалы, тоже покрытые зеленью... И всюду деревья, исполинские деревья, вершины которых поднялись высоко над домами, домами миниатюрными и уютными. Таково первое впечатление от Японии.

* * *

Во Франции, у антикваров и в магазинах случайных вещей, потом в Порт-Саиде и во время всего путешествия я видел японские пейзажи, исполненные красками на лакированных панно. Они казались неправдоподобными, до того были красивы. Но у берегов Японии я убедился, что лакированные панно не лгали, Япония, действительно, такова. Я проникся внезапно восторгом, не имевшим границ.

Нагасаки сплошное очарование. И не только Нагасаки, — все побережье Киу-Сиу, все берега Японии, и в особенности волшебные берега Внутреннего моря, что лежит между Сикокком и Ниппоном, и рядом с красотами которого наше Средиземное море представляется не бог весть чем.

Таково первое впечатление. Последующие не менее благоприятны.

Я вспоминаю первую прогулку по Нагасаки. Это большой и оживленный город, широко раскинувшийся у подножия зеленых и лиловых гор, что стали кругом амфитеатром. Домики все небольшие, не более двух этажей вышиной, построенные из дерева и бумаги, без стекол. По улицам снуют густая толпа.

Японский костюм всем известен, не стоит, значит, и описывать эти «кимоно», почти одинаковые у мужчин и женщин. Последние, однако, добавляют к ним т. наз. «оби», — пояс, завязывающийся на спине огромным бантом.

Вся эта толпа находится в непрерывном движении; но движется не спеша, без особого шума, если не считать равномерных постукиваний «ghetas», — деревянных подошв на двух поперечных кусочках дерева.

Эти «ghetas» постукивают очень бойко и оживленно... Их стук, пожалуй, один из наиболее характерных для Японии звуков.

Примите во внимание то, что Япония — нация с высокой рождаемостью и, стало быть, улицы кишат детьми, — всегда веселыми, здоровенькими, вечно играющими... Большинство из них посещают школы, и мне почему-то всегда казалось, что японские малыши относятся к своим книжкам и тетрадкам с особым уважением.

Японцы наших дней, быть может, только внешне, но весьма благосклонно относятся к иностранцам. Каждая встреча, как бы мимолетна она ни была, неизменно сопровождается улыбками и возгласами, — «Oyahi! Oyahi!» — что равносильно корректному и сердечному приветствию.

* * *

Едва ли в целом мире найдется зрелище более любопытное, чем японский базар. Прежде всего, на нем отсутствует наша западная грубость. В ниппонском лексиконе, кстати, совершенно отсутствуют бранные слова. Японская грамматика содержит, напротив, особую форму спряже-

ний, которая употребляется исключительно при выражении почтительности, и употребляется чаще, чем вы думаете, уверяю вас!

* * *

Пройдите старый город, и вы уже в деревне...

Японская деревня! Сколько верст я исходил, сколько сделал прогулок, прежде чем убедился, что вокруг меня настоящая деревня, леса, поля и нивы... а не волшебная и неправдоподобная декорация... Мне все казалось, и казалось долго, что я ошибаюсь, что я нахожусь среди садов, парков и цветников.

«Пашня, пастбище» — слишком грубые слова для японского сельского очарования. Нужны какие-то иные выражения, которые можно найти разве у Вергилия.

Япония чрезвычайно гориста, и поля в большинстве случаев расположены на террасах, по склонам холмов. Самый мелкий крестьянин, обладатель каких-нибудь трех ступенек на склоне горы, на которых он сеет свой рис, так необычайно обрабатывает свой кусочек, что, глядя на него, кажется, будто это не рисовое поле, а изысканная лужайка; что эту лужайку взрослил некий вельможа для наслаждения пресыщенного взора, и что, конечно, она не имеет другого применения.

Однако это не так, — эти «лужайки» кормят целый народ, потому что основой японского питания является рис, тот самый рис, который японцы возвращают повсюду, с настойчивостью, терпением, любовью, художественно, — но и с выгодой для себя, с огромной выгодой.

На Киу-Сиу, а также на Сикокке и даже в северной Японии произрастают бамбуковые леса; самые красивые растут в окрестностях Нагасаки. Эти леса так красивы, так выложены, так подчищены, что, гуляя в них, чувствуешь себя в княжеском парке.

На севере торжественно возвышаются другие деревья, — те гигантские кедры, миниатюрные модели которых мы видели у всех наших экзотических торговцев в Европе. Японским садовникам ведом секрет, как из дерева высотой в тридцать метров, при нормальных условиях, сделать миниатюру не выше пятнадцати сантиметров. Но не все ли равно! Посмотрите на этих «карликов», что красуются в витринах больших цветочных магазинов, мысленно помножьте на сто, и вы представите красавцев-гигантов, что растут по склонам холмов далекой Японии... Их называют на ниппонском наречии «криптомериями», и они придают пейзажу Священной Горы Никко торжественный и даже суровый вид.

Но суровость и торжественность мало применимы к Японии. «Красивый» — вот прилагательное, наиболее точно определяющее Японию (я разумею Японию с чисто внешней точки зрения). Здесь все красиво, потому что все исполнено грации и чувства меры.

Сейчас в Японии сколько угодно автомобилей, но лет двадцать пять тому назад их и в помине не было: Ниппон, ценя комфорт и понимая его тоньше, чем мы, пользовался только «курумой». «Курума» — род повозки на двух колесах, годный для одного седока; в ее оглобли запрягается сам «извозчик»; извозчика-лошадь здесь называют «джинн», это крепкий, смысленный и ловкий человек, кучер, проводник, почтальон и лошадь, — все сразу. Удивительный человек, способный оставлять за собою версты, как рубанок еловые стружки, даже не замечая!

Только в крайнем случае, если перегон слишком велик, или если нужно бежать скорей автомобиля, «курума-джинн» захватит с собою еще товарища.

Не подумайте, что этот способ передвижения годен лишь для маленьких прогулок!.. О, нет! «Курума-джинн» не испугается ни пяти, ни десяти, ни даже двадцати лье. Двух бегунов вполне достаточно в последнем случае... В то время, как один в упряжи, другой отдыхает... «Отдыхать» значит бежать во всю прыть позади повозки, не замедляя движения, чтобы смениться через несколько километров.

Подошвы снашиваются быстро при ремесле такого рода, тем более что «бегуны» носят исключительно соломенную обувь, которой едва хватает на два, три километра, а там ее бросают и покупают новую. Самая оживленная торговля в Японии, — торговля соломенной обувью. (Не подумайте, однако, что ваши «бегуны» разорят вас на обуви: пара таких «ботинок» стоит два су...)

Курума-джинн — явление чрезвычайно характерное для Японии, оно пережило эпоху Великих Реформ и переживет еще, возможно, и наше время.

Надо отдать при том справедливость «курума-джинну», что в девяти случаях из десяти он так умен и понятлив, что вам не приходится говорить ему, куда ехать. Нередко он догадывается о цели вашей поездки по вашему внешнему виду, костюму, по времени дня и иным едва уловимым признакам. Не дожидаясь ваших указаний, он мчится во весь опор и везет туда, куда вы, по его мнению, направляетесь... Ему случается, конечно, ошибаться... Но реже, чем можно было бы думать.

Существование этого милого способа передвижения, скорее предназначенного для дорожек и тропинок, нежели для больших дорог, не помешало, однако, японцам покрыть страну сетью прекрасных шоссированных дорог и выполнить в кратчайший срок широкую железнодорожную программу. С того памятного дня, когда суда «коммодора» Пэрри обстреляли Когошиму, Япония, всеми силами старавшаяся уйти в себя, отгородиться от остального мира и особенно Европы, чтобы сохранить свои обычаи и не иметь ничего общего с «людьми Запада», по ее мнению, грубыми варварами, — внезапно переменила мнение, а с мнением и тактику. Американские выстрелы доказали ей, что идти иным путем, нежели Европа и Америка, едва ли благо-разумно.

Япония приняла это к сведению, а принявши к сведению — поняла, что ей нужны пароходы, крейсера, пушки, железные дороги и еще многое другое. И все, что ей недоставало, Япония обрела полностью и в короткий срок.

В 1889 году путешествие по Японии было чрезвычайно занято, — часть пути проезжали по железной дороге, часть в «куруме».

Пьер Лоти путешествовал по Японии несколькими годами раньше меня и описал свое путешествие, разумеется, несравненно лучше, чем я... Ниже я процитирую несколько страниц из его книги.

Между прочим, Лоти посетил Никко, город северного Нишона. Никко стоит и нужно видеть, — это священный некрополь великих шогунов XVI века.

Мне еще не пришлось говорить о художественной жизни Японии. Не жалейте об этом сверх меры, — о японском искусстве можно сказать значительно меньше, чем о том думают в Европе, ибо японское искусство далеко не самобытно. На Востоке одно лишь искусство, ни с чем не сравнимое и гигантское, — это искусство Китая. Япония вечно подражала ему, но никогда не могла до него подняться. Разумеется, у японцев есть свое искусство, родившееся из китайского, с некоторыми отклонениями и добавлениями, и это искусство оставило блестящие образцы как в архитектуре, так и в скульптуре, керамике и эмали. Лучшее, что дало японское искусство, сосредоточено в Никко.

Никко — метрополия японского искусства. В нем самые пышные храмы и самые величественные могилы. В других городах тоже немало храмов, могил и иных прекрасных памятников, — хотя бы в Киото, в священной столице, или в Токио, в столице могучих «шогунов» и современных микадо, но они не могут сравниться с тем, что мы находим в Никко.

Посмотрим, однако, как говорит об этом Лоти.

Пока еще свежо все это в моей памяти, я расскажу о путешествии моем к Святой Горе.

Я отправился из Иокогамы, — города вполне интернационального, и отправился весьма банально, — по железной дороге, с поездом шесть тридцать утра.

Японские вагоны довольно забавны, — длинные и узкие, они снабжены в полу дырками, которые служат плевательницами и куда дамы выколачивают свои маленькие трубки.

Поезд бежит быстро. К двум часам дня я буду в Утсуноми (большой северный город), где покину вагон, так как железная дорога здесь кончается. Отсюда мне придется продолжать мой путь в повозочке с двумя «бегунами».

Поезд бежит, а по сторонам разворачивается картина все тех же полей и голубых гор на горизонте...

Скоро два часа. Вдали большой город... Поезд останавливается...

Утсуноми!

Здесь уже значительно холоднее, чем в Йокогаме, чувствуется перемена широты и отдаленность от моря, которое всегда согревает... Меня окружают «бегуны», — я единственный европеец, и они спорят из-за чести везти меня.

«Никко!» — повторяют они на все лады, — «Никко!» По крайней мере десять лье!... Вы хотите поспеть туда к ночи? — О! нужны крепкие ноги, сильные люди, и следует отправляться сейчас же, и платите хорошо...

Наиболее предприимчивые показывают свои желтые икры и шлепают по ним, чтобы доказать их упругость. В конце концов выбор сделан, торг заключен, и можно ехать.

Завтрак наскоро в первом попавшемся чайном домике.

Они все одинаковы, эти домики, — деревянные палочки, рис, соус из рыбы; бесчисленные чашечки и блюдечки тонкого фарфора с нарисованными на них голубыми цаплями; очень мило причесанные молоденькие служанки склоняются в бесконечных реверансах...

Нет еще и двух часов, когда я усаживаюсь в тележку, легкую и маленькую до невероятия. Испуская громкие крики, мои «бегуны» пустились с места в карьер и умчали меня с непостижимой быстротой. Позади в густом облаке пыли исчезли улицы, домики, толпа...

Горбатый мост, спуск, и начинается древний Утсуноми, — узенькие улочки, домики из почерневшего дерева, мастерские, в которых изготавлиются всевозможные забавные ве-

щицы, — воздушные змеи, деревянные коньки, веера, фонарики, мандолины и бесчисленные безделушки.

Город велик, улицы длинные, но все это быстро остается позади, и вот мы уже среди полей. Три-четыре километра мчимся мы по самой обыденной дороге, среди возделанных нив и садов и, наконец, выезжаем на единственную в мире дорогу, проложенную за шесть столетий до нашего времени, для траурных процессий императоров. Сжатая между двумя откосами, образующими подобие стен, она узка; ее ни с чем не сравнимая прелесть в тех гигантских деревьях, что тянутся в два ряда по обеим ее сторонам. То криптомерии (японские кедры), весьма похожие по размерам и структуре на исполинские калифорнийские «веллингтонии»!»!

Их печальная зелень образует подобие свода над нашей головой. Если поднять голову, то видно, как в беспредельную высоту идут гигантские стволы, подобные стройным колоннам; идут так тесно, что образуют как бы двойные или тройные пилястры неведомого храма. В их тени прохладно и сыро, и свет принимает зеленовато-матовый оттенок.

Невольно охватывает чувство подавленности и грандиозности, столь редкое в Японии, и взор с беспокойством устремляется вперед, туда, где в зеленоватом полумраке теряется дорога... Кажется, что ей нет конца и что так она будет развертываться в течение многих, многих часов...

Так оно и будет в действительности, — мы увидим Никко в самом конце этого необычайного туннеля. Туннель закончится красным лакированным мостом на серых гранитных устоях. Этот мост предназначен исключительно для траурных императорских кортежей, через него проходят только, покинув это жалкое земное существование, только для того, чтобы уснуть навсегда в горделивых могилах из чистого золота.

Там, за мостом, возвышается гора, покрытая кедрами, под тенью которых дремлют мавзолеи и поражающие роскошью храмы...

Я позволю себе привести описание самого пышного из всех десяти храмов Святой Горы... Пусть это снова сделает Лоти, потому что только он и Редьярд Киплинг поняли, как никто, сказочный Дальний Восток...

Проникнем теперь за третью стену, которая крыта золотистым лаком и покоится на бронзовом основании. Она вся состоит из отдельных панно, горельефов, на которых изображены все животные и птицы, все цветы и листья, когда-либо виданные на земле...

Перед воротами мы останавливаемся, буквально ошеломленные, — все чудеса, что мы видели, ничто по сравнению с этим. Исполинские двери покрыты тончайшей резьбой; замки и скобы чистого золота выполнены с неповторимым вкусом и изысканностью. Эти ворота охраняются не так, как ворота обычных храмов: вместо двух колоссов ужасного вида по бокам — два бога человеческого облика, с морщинами на старческих лицах, с кожей трупного цвета, с улыбкой спокойной и неуверенной в одно и то же время. Они сидят в нишах, наполненных ветвями роз и пионов из перламутра и слоновой кости.

Бронзовую крышу этих ворот не в состоянии описать перо человека, равно как и кисть художника бессильна ее передать. Ее поддерживает целая армия «небесных собак», драконов и химер, которые теснятся одни над другими в шесть рядов, рогатые, ужасные, злые, — золотой кошмар, застывший здесь в безумном устремлении... Их пасти разверсты, они смотрят вниз на того, кто осмелится проникнуть сюда...

Но проедем бесстрашно под ними... Перед нами двор и в глубине его роскошный храм, называемый «Дворцом восточного сиянья».

Здесь пусто, нет даже кедров, — двор свободен... Кажется, что строитель желал дать отдых глазам и чувствам перед последним чудом-святилищем.

Внезапно наши шаги, до сих пор беззвучные, начинают звучать отчетливо и звонко; мы ступаем по круглым черным камешкам, которые издают под ногами странный и мрач-

ный шум (вероятно, это требование этикета, так как перед всеми храмами вы находите те же камешки. Надо думать, что таким образом дают знать богам о приближении кого-нибудь к храму).

Пустынное и мрачное место! Двор, усыпанный черным, окруженный золотыми стенами... не золото ли, о коем упоминается в Апокалипсисе?

Тем более, что все апокалиптические звери сошлись на крыше храма, что сияет теперь перед нами. Его фасад и портик напоминают то, что мы уже видели, но еще богаче, еще изысканнее, еще необычайней в орнаменте и линиях.

Храму триста лет. Его поддерживают столь тщательно, что даже позолота нигде не потускнела и, тем не менее, нечто в его общем облике дает почувствовать века, которые прошли над ним. Какими варварами должны казаться народу, который воздвигал памятники из слоновой кости, золота и лакированного дерева, мы с нашими памятниками из серого камня!

Когда читаешь это описание, то кажется, что грандиозность Святой Горы противоречит общей миниатюрности и миловидности Японии. Однако не следует делать вывода, что древняя Япония грандиозна, а современная миниатюрна. На самом деле Япония одна, и сейчас она такая же, какою была несколько веков тому назад. Я в этом убедился, едва лишь ступил впервые на берег страны Восходящего Солнца. Слов нет, ниппонская раса невелика ростом, и домики Японии не отличаются размерами. Но далеко не все в мире меряется длиной и высотой. Достаточно вспомнить, как эта миниатюрная нация одним движением сбросила с себя ветхое платье прошлого, как в несколько лет она покрыла свою страну железными дорогами, казармами и школами, которым могут позавидовать наши, и как народонаселение ее за четверть века возросло в три раза!

Уже тогда я мог заглянуть в будущее и с уверенностью предсказать то, что так блестяще подтвердила история. Уже тогда я предвидел будущие победы японцев, и впоследст-

вии меня не изумили ни Мукденские бои, ни даже Цусима.

В настоящее время Япония более значительное государство, нежели Германия. Население ее уже равно ста восьмидесяти миллионам, и не пройдет и двадцати лет, как оно превысит двести.

Не так давно на конференции в Вашингтоне Япония заняла третье место среди морских держав, третье после Англии и Соединенных Штатов. Третье место еще не первое, но японцы терпеливы.

Япония еще далека от владычества на Тихом океане. В Австралии, равно как в Америке, даже Южной, или на Новой Зеландии белое население относится весьма враждебно к японцам, — представителям «желтой» расы. В силу этого и некоторых других обстоятельств мне не кажется, чтобы Япония могла сейчас подставить ножку своим ближайшим соседям.

Но население Японии растет быстро, а страна по территории невелика. Население Америки и Австралии не увеличивается, а скорее даже уменьшается; незаселенные пространства их огромны.

Не следует забывать, что только иммиграция довела население Америки до нынешних размеров; с тех пор, как приток эмигрантов прекратился или замедлился, население стабилизировалось или имеет даже тенденцию к уменьшению, так как рождаемость в Америке не превышает таковой в Европе. У японских матерей, наоборот, всегда очень много детей. Будьте уверены, что пройдет несколько десятков лет, и Япония не удовольствуется более «третьим местом». Всякое «нарушение международного равновесия» она сумеет использовать как нельзя лучше.

* * *

Мне могут возразить, что Япония не слишком богата... Да, это так. До последнего времени Япония была страной хлебопашества по преимуществу; промышленность ее спа-

ла. Но сон этот прерван, японская промышленность развивается гигантскими шагами, и недалек тот момент, когда эта маленькая страна будет говорить с Соединенными Штатами, как равный с равным.

Более того, — Япония вынуждена будет это сделать, ибо рано или поздно ее населению станет тесно на островах...

Мне не думается, чтобы над Тихим океаном в будущем неизменно сияло ясное небо!..

Тем хуже для тех, кто в 1854 году вывел Японию из ее векового покоя; она не нарушила бы его добровольно. То были люди commodора Пэрри, как вы, вероятно, помните — американцы.

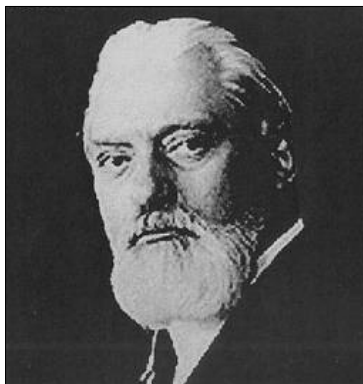
И так каждому по делам его! Ничего нет удивительного в том, что впоследствии Америке придется пожалеть о жесте, сделанном чисто по-американски.

Мне приходится еще раз вернуться к Вашингтонской конференции. Великие морские державы, собравшись, поделили между собой владычество на морях так: Англия — 525.000 тонн броненосных судов; Соед. Штаты — столько же, Япония — 350.000; Франция и Италия — по 175.000 тонн.

Очевидно для каждого, что в руках Японии, не имеющей вовсе колоний, подобный флот является силой, с которой можно в любой момент перейти в наступление. Имея к тому все возможности атаковать любое государство, сама Япония гарантирована от чего-либо подобного, так как ни Америка, ни Англия не в состоянии ныне угрожать ей.

И если суждено, чтобы Тихий океан стал ареной мировых событий, то в этой международной драме самую победоносную роль, я уверен, сыграет Страна Восходящего Солнца.

Об авторе



Клод Фаррер (наст. имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон), сын полковника колониальной пехоты, родился в Лионе в 1876 г. Учился в лицеях Марселя и Тулона. В 1894 г. поступил в Военно-морскую академию в Бресте. В 1897-99 гг. служил на Дальнем Востоке, побывал в Сайгоне, Ханое и Хайфоне. В 1899 г. Фаррер стал лейтенантом флота, в 1906 году — капитан-лейтенантом, в 1918 г. — капитаном третьего ранга.

Первая книга Фаррера, «Циклон», вышла в 1902 г. В 1904 г. увидел свет получивший широкую известность сборник новелл «Дым опиума», а уже в 1905 г. молодой писатель был награжден Гонкуровской премией за роман «Цивилизованные» (в русском пер. «Цвет цивилизации», 1909).

В годы Первой мировой войны Фаррер был ранен во время артиллерийского обстрела. В 1919 г. он женился на Анриетте Рожер и вышел в отставку, чтобы полностью посвятить себя литературе.

Фаррер дружил с Пьером Луи и Виктором Сегаленом и высоко ценил Пьера Лоти, с которым его часто сравнивали. Крайне интересовался Турцией (где с 1902 г. побывал 11 раз) и поддерживал кемалистское движение во время Турецкой войны за независимость, но в начале 1920-х годов разочаровался в нем из-

за авторитарной и шовинистической политики Мустафы Кемаля Ататюрка. В современном Стамбуле именем Фаррера названа улица.

В период между двумя мировыми войнами Фаррер возглавлял Союз писателей-участников Первой мировой войны, сотрудничал с редакцией газеты «Факел» — органом националистической и консервативной организации «Огненные кресты». Тем не менее, в 1933 году он вступил во Французский комитет защиты преследуемой еврейской интеллигенции, призывал французское правительство гостеприимно принимать евреев — беженцев из Германии во имя гуманизма и в качестве ответа на шаг Германии, давшей приют французским гугенотам после отмены Нантского эдикта.

6 мая 1932 г., на открытии книжного базара в Париже, во время убийства президента Франции Поля Думера фашиствующим русским эмигрантом Павлом Горгуловым, Фаррер находился рядом с президентом, бросился на Горгулова, пытаясь спасти Думера, и был ранен в руку.

В 1934 г. Фаррер опубликовал «Историю Военно-морского флота Франции», где утверждал, что о военно-морском флоте страны обычно заботилась образованная элита, которую редко поддерживало общественное мнение, и приписывал многие исторические поражения Франции отсутствию сильного флота.

В марте 1935 г., после двух неудачных попыток, Фаррер был наконец избран членом Французской академии; с преимуществом в пять голосов он победил соперника — Поля Клоделя и стал, после Лоти, вторым моряком за всю историю Академии.

В 1938 г. как «независимый автор» Фаррер посетил Японию по приглашению правительства страны; побывал в Китае, Корее и Маньчжурском государстве и был награжден японским орденом Священного Сокровища второй степени.

Клод Фаррер скончался в Париже в 1957 г. В 1959 г. Союз писателей-комбатантов учредил литературную премию его имени, присуждаемую за «роман с воображением» писателям, которые «до сих пор не получили ни одной большой литературной премии».

Фаррера чаще всего вспоминают как автора «колониальной» или «колониально-эротической» прозы. Однако среди его 70 с лишним книг есть и путевые заметки, и эссе на международную тематику, и приключенческие, и любовные, и детективные романы (в историю жанра Фаррер вошел благодаря вышедшему в 1906 году роману «Человек-убийца», где убийцей оказывается сам главный-герой-рассказчик). Писал он и фантастику, в том числе

рассказы и роман «Осужденные на смерть» (1920), получивший известность в английском переводе как «Ненужные руки» (в этой антиутопии капиталисты, используя новейшее оружие, убивают бастующих рабочих и заменяют их машинами), а также опубликованный в данной серии в 2015 г роман «Дом Людей Живых».

Книга К. Фаррера «La promenade d'Extrême-Orient» впервые вышла в свет в 1924 г. как первый том авторской серии «Мои путешествия». Русский перевод печатается по изданию: Фаррер К. Путешествие на Дальний Восток. Л.-М., «Петроград», 1925. В тексте исправлены очевидные опечатки и некоторые устаревшие особенности орфографии и пунктуации. Имена и топонимы, как правило, сохранены без изменений. Для удобства чтения слова, набранные в оригинальном издании с разрядкой, даны курсивом.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.